

# Глава 5. Механизмы "бегства"

Мы довели свое исследование до наших дней и должны были бы перейти к обсуждению психологического значения фашизма, к обсуждению того, что означает свобода в авторитарных системах и в нашей демократии. Однако истинность всех наших рассуждений зависит от истинности психологических предпосылок, на которые мы опираемся, поэтому полезно прервать общий ход изложения и посвятить специальную главу более детальному и конкретному рассмотрению тех психологических механизмов, которых мы уже касались прежде и с которыми нам предстоит сталкиваться впредь. Наши предпосылки требуют детального рассмотрения потому, что они основаны на представлениях о бессознательных силах, о способах проявления этих сил через рационализации и через черты характера. Если даже эти представления в какой-то мере знакомы многим читателям, они, во всяком случае, нуждаются в уточнении.

В этой главе я специально обращаюсь к психологии личности, к наблюдениям, сделанным при детальных обследованиях отдельных людей с помощью психоаналитической процедуры. Хотя психоанализ и не достиг того идеала, к которому в течение многих лет стремилась академическая психология, прямого применения точных экспериментальных методов, — однако он является, по существу, эмпирическим методом, основанным на тщательном наблюдении мыслей, снов и фантазий человека, не задержанных его внутренней цензурой. Только психология, основанная на представлениях о бессознательных силах, может проникнуть сквозь завесу обманчивых рационализации, с которыми мы сталкиваемся при анализе как отдельных людей, так и целых обществ. Великое множество проблем, на первый взгляд неразрешимых, тотчас исчезает, как только мы решаемся отказаться от представления, будто люди всегда осознают мотивы своих действий, мыслей и чувств; на самом деле их истинные мотивы не обязательно таковы, как им кажется.

Многие читатели могут спросить, можно ли применять для психологического изучения целых групп открытия, полученные при наблюдении индивидов. Мы ответим на этот вопрос подчеркнутым "да". Любая группа состоит из индивидов, и только из индивидов; таким образом, психологические механизмы, действующие в группе, могут быть лишь теми же, что действуют в индивидах. Изучая психологию личности как основу для понимания психологии социальной, мы производим нечто подобное изучению объекта под микроскопом. Это позволяет нам обнаружить те детали психологических механизмов, которые мы встретим в масштабных проявлениях в процессе общественного развития. Если анализ социально-психологических явлений не опирается на детальное изучение индивидуального поведения, то он утрачивает эмпирический характер, а значит, и обоснованность.

Но, даже признав необходимость исследования индивидуального поведения, можно тем не менее усомниться в том, что исследование индивидов, которые обычно имеют ярлык "невротиков", может быть как-то приложимо к проблемам социальной психологии. И снова мы утверждаем, что это именно так. Явления, наблюдаемые у невротичных людей, в принципе не отличаются от тех явлений, какие мы встречаем у людей "нормальных". Только у невротиков эти явления протекают более четко, более остро и часто более доступны сознанию самого человека, в то время как нормальные люди не осознают никаких проблем, которые требовали бы исследования.

Чтобы лучше в этом разобраться, по-видимому, полезно сказать и о том, что понимается под терминами "невротик" и "нормальный" (или "здоровый") человек.

Термин "нормальный (или здоровый) человек" может быть определен двумя способами. Во-первых — с точки зрения функционирующего общества, — человека можно назвать нормальным, здоровым, если он способен играть социальную роль, отведенную ему в этом обществе. Более конкретно это означает, что человек способен выполнять какую-то необходимую данному обществу работу, а кроме того, что он способен принимать участие в воспроизводстве общества, то есть способен создать семью. Во-вторых — с точки зрения индивида, — мы рассматриваем здоровье, или нормальность, как максимум развития и счастья этого индивида.

Если бы структура общества предлагала наилучшие возможности для счастья индивида, то обе точки зрения должны были бы совпасть. Однако ни в одном обществе мы этого не встречаем, в том числе и в нашем. Разные общества отличаются степенью, до которой они способствуют развитию индивида, но в каждом из них существует разрыв между задачами нормального функционирования общества и полного развития каждой личности. Этот факт заставляет прочертить резкую границу между двумя концепциями здоровья. Одна из них руководствуется потребностями общества, другая — ценностями и потребностями индивида.

К сожалению, это различие часто упускается из виду. Большинство психиатров считают структуру своего общества настолько самоочевидной, что человек, плохо приспособленный к этой структуре, является для них неполноценным. И обратно: хорошо приспособленного индивида они относят к более высокому разряду по шкале человеческих ценностей. Различая две концепции здоровья и неврозов, мы приходим к выводу, что человек, нормальный в смысле хорошей приспособленности, часто менее здоров в смысле человеческих ценностей, чем невротик. Хорошая приспособленность часто достигается лишь за счет отказа от своей личности; человек при этом старается более или менее уподобиться требуемому — так он считает — образу и может потерять всю свою индивидуальность и непосредственность. И обратно: невротик может быть охарактеризован как человек, который не сдался в борьбе за собственную личность. Разумеется, его попытка спасти индивидуальность была безуспешной, вместо творческого выражения своей личности он нашел спасение в невротических симптомах или в уходе в мир фантазий; однако с точки зрения человеческих ценностей такой человек менее искалечен, чем тот "нормальный", который вообще утратил свою индивидуальность. Само собой разумеется, что существуют люди, и не утратившие в процессе адаптации свою индивидуальность, и не

ставшие при этом невротиками. Но, как мы полагаем, нет оснований клеймить невротика за его неполноценность, если только не рассматривать невроз с точки зрения социальной эффективности. К целому обществу термин "невротическое" в этом последнем смысле неприменим, поскольку общество не могло бы существовать, откажись все его члены от выполнения своих социальных функций. Однако с точки зрения человеческих ценностей общество можно назвать невротическим в том смысле, что его члены психически искалечены в развитии своей личности. Термин "невротический" так часто применялся для обозначения недостаточной социальной эффективности, что мы предпочтем говорить не о "невротических обществах", а об обществах, неблагоприятных для человеческого счастья и самореализации.

Психологические механизмы, которые мы будем рассматривать в этой главе, это механизмы избавления, "бегства", возникающие из неуверенности изолированного индивида.

Когда нарушены связи, дававшие человеку уверенность, когда индивид противостоит миру вокруг себя как чему-то совершенно чуждому, когда ему необходимо преодолеть невыносимое чувство бессилия и одиночества, перед ним открываются два пути. Один путь ведет его к "позитивной" свободе; он может спонтанно связать себя с миром через любовь и труд, через подлинное проявление своих чувственных, интеллектуальных и эмоциональных способностей; таким образом он может вновь обрести единство с людьми, с миром и с самим собой, не отказываясь при этом от независимости и целостности своего собственного "я". Другой путь — это путь назад: отказ человека от свободы в попытке преодолеть свое одиночество, устранив разрыв, возникший между его личностью и окружающим миром. Этот второй путь никогда не возвращает человека в органическое единство с миром, в котором он пребывал раньше, пока не стал "индивидом", — ведь его отделенность уже необратима, — это попросту бегство из невыносимой ситуации, в которой он не может дальше жить. Такое бегство имеет вынужденный характер — как и любое бегство от любой угрозы, вызывающей панику, — и в то же время оно связано с более или менее полным отказом от индивидуальности и целостности человеческого "я". Это решение не ведет к счастью и позитивной свободе; в принципе оно аналогично тем решениям, какие мы встречаем во всех невротических явлениях. Оно смягчает невыносимую тревогу, избавляет от паники и делает жизнь терпимой, но не решает коренной проблемы и за него приходится зачастую расплачиваться тем, что вся жизнь превращается в одну лишь автоматическую, вынужденную деятельность.

Некоторые из этих механизмов "бегства" не имеют особого социального значения; они встречаются в сколь-нибудь заметной форме лишь у людей с серьезными психическими или эмоциональными расстройствами. В этой главе я буду говорить только о тех механизмах, которые важны в социальном плане; их понимание является необходимой предпосылкой психологического анализа социальных явлений, рассматриваемых в дальнейшем: с одной стороны, фашистской системы, с другой — современной демократии[47].

## 1. Авторитаризм

В первую очередь мы займемся таким механизмом бегства от свободы, который состоит в тенденции отказаться от независимости своей личности, слить свое "я" с кем-нибудь или с чем-нибудь внешним, чтобы таким образом обрести силу, недостающую самому индивиду. Другими словами, индивид ищет новые, "вторичные" узы взамен утраченных первичных.

Отчетливые формы этого механизма можно найти в стремлениях к подчинению и к господству или — если использовать другую формулировку — в мазохистских и садистских тенденциях, существующих в той или иной степени и у невротиков, и у здоровых людей. Сначала мы опишем эти тенденции, а затем покажем, что и та и другая представляют собой бегство от невыносимого одиночества.

Наиболее частые формы проявления мазохистских тенденций — это чувства собственной неполноценности, беспомощности, ничтожности. Анализ людей, испытывающих подобные чувства, показывает, что, хотя сознательно они на это жалуются, хотят от этих чувств избавиться, в их подсознании существует какая-то сила, заставляющая их чувствовать себя неполноценными или незначительными. Эти чувства — не просто осознание своих действительных недостатков и слабостей (хотя обычная их рационализация состоит именно в этом); такие люди проявляют тенденцию принижать и ослаблять себя, отказываться от возможностей, открывающихся перед ними. Эти люди постоянно проявляют отчетливо выраженную зависимость от внешних сил: от других людей, от каких-либо организаций, от природы. Они стремятся не утверждать себя, не делать то, чего им хочется самим, а подчиняться действительным или воображаемым приказам этих внешних сил. Часто они попросту не способны испытывать чувство "я хочу", чувство собственного "я". Жизнь в целом они ощущают как нечто подавляюще сильное, непреодолимое и неуправляемое.

В более тяжелых случаях — а таких довольно много, — кроме тенденции к самоуничтожению и к подчинению внешним силам, проявляется еще и стремление нанести себе вред, причинить себе страдание.

Это стремление может принимать разные формы. Встречаются люди, которые упиваются самокритикой и возводят на себя такие обвинения, какие не пришли бы в голову их злейшим врагам. Другие — больные неврозом навязчивых состояний — истязают себя принудительными ритуалами или неотвязными мыслями. У определенного типа невротиков мы обнаруживаем склонность к физическому заболеванию, причем эти люди — осознанно или нет — ждут болезни, как дара божьего. Часто они становятся жертвами несчастных случаев, которые никогда бы не произошли без их бессознательного стремления к этому. Такие тенденции, направленные против себя самого, часто проявляются и в менее открытых и драматических формах. Например, есть люди, не способные отвечать на экзаменах, хотя прекрасно знают нужные ответы и во время экзамена, и после него. Другие восстанавливают против себя тех, кого любят, или тех, от кого зависят, совершенно неуместной болтовней, хотя на самом деле испытывают к этим людям самые лучшие чувства и вовсе не собирались говорить ничего подобного. Они ведут себя так, словно наслушались советов своих злейших врагов и делают все возможное, чтобы причинить себе наибольший ущерб.

Мазохистские тенденции часто ощущаются как чисто патологические и бессмысленные; но чаще они рационализируются, и тогда мазохистская зависимость выступает под маской любви или верности, комплекс неполноценности выдается за осознание подлинных недостатков, а страдания оправдываются их неумолимой неизбежностью в неизменных обстоятельствах.

Кроме мазохистских тенденций, в том же типе характера всегда наблюдаются и прямо противоположные наклонности — садистские. Они проявляются сильнее или слабее, являются более или менее осознанными, но чтобы их вовсе не было такого не бывает. Можно назвать три типа садистских тенденций, более или менее тесно связанных друг с другом. Первый тип — это стремление поставить других людей в зависимость от себя и приобрести полную и неограниченную власть над ними, превратить их в свои орудия, "лепить, как глину". Второй тип — стремление не только иметь абсолютную власть над другими, но и эксплуатировать их, использовать и обкрадывать, так сказать, заглатывать все, что есть в них съедобного. Эта жажда может относиться не только к материальному достоянию, но и к моральным или интеллектуальным качествам, которыми обладает другой человек. Третий тип садистских тенденций состоит в стремлении причинять другим людям страдания или видеть, как они страдают. Страдание может быть и физическим, но чаще это душевное страдание. Целью такого стремления может быть как активное причинение страдания — унижить, запугать другого, — так и пассивное созерцание чьей-то униженности и запуганности.

По очевидным причинам садистские наклонности обычно меньше осознаются и больше рационализируются, нежели мазохистские, более безобидные в социальном плане. Часто они полностью скрыты наслоениями сверхдоброты и сверхзаботы о других. Вот несколько наиболее частых рационализаций: "Я управляю вами потому, что я лучше вас знаю, что для вас лучше; в ваших собственных интересах повиноваться мне беспрекословно" или "Я столь необыкновенная и уникальная личность, что вправе рассчитывать на подчинение других" и т. п. Другая рационализация, часто прикрывающая тенденцию к эксплуатации, звучит примерно так: "Я сделал для вас так много, что теперь вправе брать от вас все, что хочу". Наиболее агрессивные садистские импульсы чаще всего рационализируются в двух формах: "Другие меня обидели, так что мое желание обидеть других — это всего лишь законное стремление отомстить" или "Нанося удар первым, я защищаю от удара себя и своих друзей".

В отношении садиста к объекту его садизма есть один фактор, который часто упускается из виду и поэтому заслуживает особого внимания; этот фактор его зависимость от объекта.

Зависимость мазохиста очевидна. В отношении садиста наши ожидания обратны: он кажется настолько сильным, властным, а его объект настолько слабым, подчиненным, что трудно представить себе, как сильный зависит от того слабого, которым властвует. И, однако, внимательный анализ показывает, что это именно так. Садисту нужен принадлежащий ему человек, ибо его собственное ощущение силы основано только на том, что он является чьим-то владыкой. Эта зависимость может быть совершенно неосознанной. Так, например, муж может самым садистским образом издеваться над своей женой — и при этом ежедневно повторять ей, что она может уйти в любой момент, что он будет только рад этому. Часто жена бывает настолько подавлена, что не пытается уйти, и поэтому оба они

верят, что он говорит правду. Но если она соберется с духом и заявит, что покидает его, — вот тут может произойти нечто совершенно неожиданное для них обоих: он будет в отчаянии, подавлен, начнет умолять ее остаться, станет говорить, что не может жить без нее, что любит ее, и т. д. Как правило, боясь каждого самостоятельного шага, она бывает рада ему поверить — и остается. В этот момент игра начинается сначала: он принимается за прежнее, ей становится все труднее это выносить, она снова взрывается, он снова в отчаянии, она снова остается — и так далее, без конца.

Во многих тысячах браков — и других личных взаимоотношений — этот цикл повторяется снова и снова, и заколдованный круг не рвется никогда. Он лгал ей, когда говорил, что любит ее, что не может без нее жить? Если речь о любви — все зависит от того, что понимать под этим словом. Но когда он утверждает, что не может без нее жить, — если, конечно, не принимать это слишком буквально — это чистейшая правда. Он не может жить без нее или без кого-то другого, кто был бы беспомощной игрушкой в его руках. В подобных случаях чувство любви появляется лишь тогда, когда связь находится под угрозой разрыва, но в других случаях садист, совершенно очевидно, "любит" тех, над кем ощущает власть. Это может быть его жена или ребенок, подчиненный, официант или нищий на улице, он испытывает чувство "любви" и даже благодарности к объектам своего превосходства. Он может думать, что хочет властвовать над ними потому, что очень их любит. На самом деле он "любит" их потому, что они в его власти. Он подкупает их подарками, похвалами, уверениями в любви, блеском и остроумием в разговорах, демонстрацией своей заботы; он может дать им все, кроме одного: права на свободу и независимость. Часто это встречается, в частности, в отношениях родителей с детьми. Здесь отношение господства (и собственности) выступает, как правило, под видом "естественной" заботы и стремления родителей "защитить" своего ребенка. Его сажают в золотую клетку, он может иметь все, что хочет, но лишь при том условии, что не захочет выбраться из клетки. В результате у выросшего ребенка часто развивается глубокий страх перед любовью, потому что для него "любовь" означает плен и заточение.

Многим мыслителям садизм казался меньшей загадкой, чем мазохизм. То, что человек стремится подавить других, считалось хотя и не "хорошим", но вполне естественным делом. Гоббс принимал в качестве "общей склонности всего человеческого рода" существование "вечного и беспрестанного желания все большей и большей власти, длящегося до самой смерти"[48]. Это "желание власти" не представлялось ему чем-то демоническим, а было для него вполне рациональным следствием человеческого стремления к наслаждению и безопасности. От Гоббса и до Гитлера, видящего в стремлении к господству логический результат биологически обусловленной борьбы за существование, жажда власти считалась самоочевидной составной частью природы человека. Но мазохистские наклонности, направленные против самого себя, кажутся загадкой. Как понять, что люди стремятся принизить себя, ослабить, причинить себе вред и, более того, получают от этого удовольствие? Не противоречит ли явление мазохизма всему нашему представлению о психической жизни человека, которая направлена, как предполагается, к наслаждению и самосохранению? Как объяснить, что некоторых людей привлекает то, от чего все мы стремимся избавиться, что они сами тянутся к боли и страданию?

Существует явление, доказывающее, что страдание и слабость могут быть целью человеческих стремлений: это — мазохистское извращение. Здесь мы обнаруживаем, что люди вполне сознательно хотят страдать — тем или иным образом, — и наслаждаются своим страданием. При мазохистском извращении человек, например, испытывает половое возбуждение, когда другой человек причиняет ему боль. Это не единственная форма мазохистского извращения; часто ищут не физической боли как таковой, а возбуждение и удовлетворение вызываются состоянием физической беспомощности. Нередко мазохисту нужна лишь моральная слабость: чтобы с ним разговаривали, как с маленьким ребенком, или чтобы его каким-либо образом унижали и оскорбляли. В садистском извращении удовлетворение достигается с помощью соответствующих механизмов: через причинение другому человеку физической боли, унижение действием или словом.

Мазохистское извращение — с его сознательным и намеренным наслаждением через унижение или боль — привлекло внимание психологов и писателей раньше, чем мазохистский характер (так называемый моральный мазохизм). Однако с течением времени стало ясно, что сексуальное извращение и те мазохистские тенденции, которые мы описали прежде, чрезвычайно близки; что оба типа мазохизма, по сути, представляют собой одно и то же явление.

Некоторые психологи считали, что, раз существуют люди, которые хотят подчиняться и страдать, должен быть и какой-то "инстинкт", направленный к этой цели. К тому же выводу пришли и социологи, например Фирканд. Фрейд был первым, кто попытался дать этому явлению глубокое теоретическое объяснение. Сначала он думал, что садомазохизм является в основе явлением сексуальным. Наблюдая садистско-мазохистские проявления у маленьких детей, он предположил, что садомазохизм представляет собой "частичное проявление" сексуального инстинкта, необходимую фазу, через которую этот инстинкт проходит в процессе своего развития. Он полагал, что садистско-мазохистские тенденции у взрослых обусловлены задержкой психосексуального развития человека на раннем уровне либо последующей регрессией к этому уровню. В дальнейшем Фрейду стало ясно значение тех явлений, которые он назвал моральным мазохизмом: стремлений не к физическому, а к душевному страданию. Он подчеркивал: также тот факт, что мазохистские и садистские тенденции всегда встречаются вместе, несмотря на их, кажущуюся противоположность. Затем его точка зрения на феномен мазохизма изменилась. Он предположил, что существует биологически обусловленная тенденция к разрушению, которая может быть направлена против других или против себя самого, — так называемый "инстинкт смерти" — и что мазохизм в основе является следствием этого инстинкта. Далее, Фрейд предположил, что этот инстинкт смерти, не поддающийся прямому наблюдению, амальгамируется с половым инстинктом; и в этом соединении проявляется в виде мазохизма, если направлен против себя, или в виде садизма, если направлен против других. Это смешение ограждает человека от опасного действия, которое оказывал бы инстинкт смерти в чистом виде; то есть, согласно Фрейду, если бы человек не мог связать свой инстинкт смерти с половым инстинктом, то у него остался бы только один выбор: уничтожать других или себя самого. Эта теория в корне отличается от первоначальных предположений Фрейда. Если прежде садомазохизм представлялся явлением, в основе своей сексуальным, то в новой теории он выступает как явление, в принципе несексуальное; сексуальный фактор возникает в нем лишь за счет смешения инстинкта смерти с половым инстинктом.

Фрейд в течение многих лет почти не уделял внимания явлению несексуальной агрессии; в системе Альфреда Адлера тенденции, о которых мы говорим, заняли центральное место. Однако он рассматривает их не как мазохизм и садизм, а как "чувство неполноценности" и "стремление к власти". Адлер видит лишь рациональную сторону этих явлений. В то время как мы говорим об иррациональной тенденции к самоуничтожению, он считает комплекс неполноценности адекватной реакцией на действительную неполноценность, такую, как врожденные недостатки человека или общая слабость ребенка. В то время как мы считаем, что стремление к власти является проявлением иррациональной настроенности управлять другими людьми, он смотрит на это стремление только с рациональной стороны и говорит о нем как об адекватной реакции, направленной на защиту индивида от опасностей, проистекающих из его неуверенности и неполноценности. Здесь, как и везде, Адлер не может заглянуть дальше целенаправленности и рациональной обусловленности человеческого поведения, и поэтому, хотя он внес ценный вклад в изучение механизмов мотивации, он всегда остается на поверхности явлений и никогда не проникает, как Фрейд, в глубины иррациональных импульсов.

В психоаналитической литературе точку зрения, отличную от точки зрения Фрейда, высказали Вильгельм Райх, Карен Хорни и я.

Хотя взгляды Райха основаны на первоначальной концепции Фрейда — теории "либидо", — он указывает, что мазохист в конечном итоге стремится к наслаждению, что причиняемая ему боль является побочным результатом, а не самоцелью. Хорни первая разгадала фундаментальную роль мазохистских стремлений у невротиков, дала полное и подробное описание мазохистских черт характера и теоретически объяснила их как производные от структуры характера в целом. В ее работах, так же как и в моих, утверждается, что не мазохистский характер является следствием сексуального извращения, а наоборот: извращение представляет собой сексуальное проявление психических тенденций, коренящихся в особом типе характера.

Здесь мы подходим к главному вопросу: откуда происходят мазохистские черты характера и соответствующие извращения? И далее: какова общая причина и мазохистских, и садистских наклонностей?

Направление, в котором нужно искать ответ, уже намечено в начале этой главы. И мазохистские, и садистские стремления помогают индивиду избавиться от невыносимого чувства одиночества и бессилия. Любые эмпирические наблюдения над мазохистами, в том числе и психоаналитические, дают неопровержимые доказательства, что эти люди преисполнены страхом одиночества и чувством собственной ничтожности. (Я не могу привести здесь эти доказательства, не выходя за рамки книги.) Часто эти ощущения неосознанны, часто они замаскированы компенсирующими чувствами превосходства и совершенства; но, если заглянуть в подсознательную жизнь такого человека достаточно глубоко, они обнаруживаются непременно. Индивид оказывается "свободным" в негативном смысле, то есть одиноким и стоящим перед лицом чуждого и враждебного мира. В этой ситуации "нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается". Это слова из "Братьев Карамазовых" Достоевского. Испуганный индивид ищет кого-нибудь или что-нибудь, с чем

он мог бы связать свою личность; он не в состоянии больше быть самим собой и лихорадочно пытается вновь обрести уверенность, сбросив с себя бремя своего "я".

Одним из путей к этой цели является мазохизм. Все разнообразные формы мазохистских стремлений направлены к одному: избавиться от собственной личности, потерять себя; иными словами, избавиться от бремени свободы. Эта цель очевидна, когда индивид с мазохистским уклоном ищет подчинения какой-либо личности или власти, которую он ощущает подавляюще сильной. (Естественно, что уверенность в высшей силе другой личности должна пониматься относительно. Эта уверенность может быть основана не только на действительной силе другой личности, но и на убежденности в своей собственной слабости и ничтожности. В этом случае угрожающие черты могут приобрести и мышонок, и сухой лист.) В других формах мазохистской тенденции основная цель состоит в том же. Например, в мазохистском чувстве собственной ничтожности проявляется стремление усилить первоначальное чувство своей незначительности. Как это понять? Можно ли допустить, что человек пытается избавиться от беспокойства, усиливая его? Именно так. Ведь, в самом деле, пока я разрываюсь между стремлением быть независимым, сильным и чувством своей незначительности и бессилия, я нахожусь в состоянии мучительного конфликта. Но я могу спастись от этого конфликта, если мне удастся обратить свою личность в ничто и не признавать себя больше самостоятельным индивидом. Один из путей к этой цели — ощутить себя предельно ничтожным и беспомощным; другой путь — искать подавляющей боли и мучения; еще один — поддаться опьянению или действию наркотика. Самоубийство — это последняя надежда, если все остальные попытки снять бремя одиночества оказались безуспешными.

При определенных условиях эти мазохистские стремления — их реализация приносят относительное облегчение. Если индивид находит социальные формы, удовлетворяющие его мазохистские наклонности (например, подчинение вождю в фашистском режиме), то он обретает некоторую уверенность уже за счет своего единства с миллионами других, разделяющих те же чувства. Но даже в этом случае мазохистское "решение" ничего не решает, как и любые невротические симптомы; индивид избавляется лишь от осознанного страдания, но внутренний конфликт остается, а вместе с ним и скрытая неудовлетворенность. Если мазохистское стремление не находит подходящих общественных форм или если оно превосходит средний уровень мазохизма в социальной группе данного индивида, то мазохистское "решение" не может дать ничего даже в относительном смысле. Оно возникает из невыносимой ситуации, пытается преодолеть ее, но оставляет индивида в тисках новых страданий. Если бы человеческое поведение всегда было рационально и целенаправленно, то мазохизм был бы так же необъясним, как и вообще все невротические симптомы. Но изучение эмоциональных и психических расстройств показывает, что человеческое поведение может быть мотивировано побуждениями, вызванными тревогой или каким-либо другим непереносимым состоянием духа; что эти побуждения имеют целью преодолеть такое эмоциональное состояние, но в лучшем случае лишь подавляют его наиболее явные проявления, а иногда не могут даже и этого. Невротические симптомы напоминают иррациональное поведение при панике. Так, человек, захваченный пожаром, стоит у окна и зовет на помощь, совершенно забыв, что его никто не услышит и что он еще может уйти по лестнице, которая через несколько минут тоже загорится. Он кричит, потому что хочет спастись, и его действие кажется ему шагом к

спасению, на самом же деле это шаг к катастрофе. Точно так же и мазохистские стремления вызываются желанием избавиться от собственного "я" со всеми его недостатками, конфликтами, риском, сомнениями и невыносимым одиночеством. Но в лучшем случае они лишь подавляют наиболее заметные страдания, а в худшем — приводят к еще большим. Иррациональность мазохизма, как и всех невротических симптомов вообще, состоит в полнейшей несостоятельности тех средств, которые применяются для выхода из невыносимой психической ситуации.

Из только что изложенного видно важное различие между невротической и рациональной деятельностью. В рациональной — результат соответствует мотивировке: человек действует для того, чтобы добиться какого-то определенного результата. В невротической — стимулы, по существу, негативны: человек действует, чтобы избавиться от невыносимой ситуации. Но его старания направлены к тому, что только кажется решением: действительный результат оказывается обратным тому, чего он хотел достичь; потребность избавиться от невыносимого чувства настолько сильна, что человек не в состоянии выбрать линию поведения, ведущую не к фиктивному, а к действительному решению его проблем.

При мазохизме индивид побуждается к действию невыносимым чувством одиночества и ничтожности. Он пытается преодолеть это чувство, отказываясь от своего "я" (в психологическом смысле); для этого он принижает себя, страдает, доводит себя до крайнего ничтожества. Но боль и страдание — это вовсе не то, к чему он стремится; боль и страдание — это цена, он платит ее в неосознанной надежде достичь неосознанную цель. Это высокая цена; ему, как поденщику, влезавшему в кабалу, приходится платить все больше и больше; и он никогда не получает того, за что заплатил, — внутреннего мира и покоя.

Анализ мазохистского извращения неопровержимо доказывает, что страдание может быть притягательным. Однако в этом извращении, как и в моральном мазохизме, страдание не является действительной целью; в обоих случаях это ~ лишь средство, а цель состоит в том, чтобы забыть свое "я". Основное различие между мазохистским извращением и моральным мазохизмом состоит в том, что при извращении стремление отказаться от себя проявляется через тело и связывается с половым чувством. При моральном мазохизме это стремление овладевает человеком целиком, так что может разрушить все цели, к которым его "я" сознательно стремится. При извращении мазохистские стремления более или менее ограничены физической сферой; более того, смешиваясь с сексом, эти стремления принимают участие в разрядке напряжений, возникающих в половой сфере, и таким образом находят себе прямой выход.

Уничтожение собственного "я" и попытка за счет этого преодолеть невыносимое чувство бессилия — это только одна сторона мазохистских наклонностей. Другая — это попытка превратиться в часть большего и сильнее всего целого, попытка раствориться во внешней силе и стать ее частицей. Этой силой может быть другой человек, какой-либо общественный институт, бог, нация, совесть или моральная необходимость. Став частью силы, которую человек считает неколебимой, вечной и прекрасной, он становится причастным к ее мощи и славе. Индивид целиком отрекается от себя, отказывается от силы и гордости своего "я", от собственной свободы, но при этом обретает новую уверенность и новую гордость в своей

причастности к той силе, к которой теперь может себя причислить. И кроме того, приобретается защита от мучительного сомнения. Мазохист избавлен от принятия решений. Независимо от того, является ли его хозяином какая-то внешняя власть или он интериоризовал себе хозяина — в виде совести или морального долга, — он избавлен от окончательной ответственности за свою судьбу, а тем самым и от сомнений, какое решение принять. Он избавлен и от сомнений относительно смысла своей жизни, относительно того, кто "он". Ответы на эти вопросы уже даны его связью с той силой, к которой он себя причислил; смысл его жизни, его индивидуальная сущность определены тем великим целым, в котором растворено его "я".

Мазохистские узы принципиально отличаются от первичных уз. Эти последние существуют до того, как процесс индивидуализации достиг своего завершения; индивид еще является частью "своего" природного и социального мира, он еще не окончательно выделился из своего окружения. Первичные узы дают ему подлинную уверенность и чувство принадлежности. Мазохистские узы — это средство спасения. Личность выделилась, но не способна реализовать свою свободу; она подавлена тревогой, сомнением, чувством бессилия. Личность пытается обрести защиту во "вторичных узах" — как можно было бы назвать мазохистские связи, — но эти попытки никогда не удаются. Появление собственного "я" необратимо; сознательно индивид может чувствовать себя уверенным и "принадлежащим" некоему целому, но, в сущности, он остается бессильным атомом, страдающим от поглощения своего "я". Он никогда не сливается в одно целое с той силой, к которой прилепился, между ними всегда остается фундаментальное противоречие, а вместе с тем и побуждение, хотя бы и неосознанное, преодолеть мазохистскую зависимость и стать свободным.

В чем сущность садистских побуждений? Желание причинять другим людям боль и в этом случае не главное. Все наблюдаемые формы садизма можно свести к одному основному стремлению: полностью овладеть другим человеком, превратить его в беспомощный объект своей воли, стать его абсолютным повелителем, его богом, делать с ним все, что угодно. Средства для этой цели — его унижение и порабощение; но самый радикальный способ проявить свою власть состоит в том, чтобы причинять ему страдание, ибо нет большей власти над другим человеком, чем власть причинять страдание, боль тому, кто не в состоянии себя защитить. Сущность садизма составляет наслаждение своим полным господством над другим человеком (или иным живым существом)[49].

Может показаться, что это стремление к неограниченной власти над другим человеком прямо противоположно мазохистскому стремлению, поэтому представляется загадочным, что обе тенденции могут быть как-то связаны между собой. Конечно, с точки зрения практических последствий желание зависеть от других или страдать противоположно желанию властвовать или причинять страдания другим. Однако психологически обе тенденции происходят от одной и той же основной причины — неспособности вынести изоляцию и слабость собственной личности.

Я предложил бы назвать общую цель садизма и мазохизма симбиозом. Симбиоз в психологическом смысле слова — это союз некоторой личности с другой личностью (или иной внешней силой), в котором каждая сторона теряет целостность своего "я", так что обе

они становятся в полную зависимость друг от друга. Садист так же сильно нуждается в своем объекте, как мазохист — в своем. В обоих случаях собственное "я" исчезает. В одном случае я растворяюсь во внешней силе — и меня больше нет; в другом — я разрастаюсь за счет включения в себя другого человека, приобретая при этом силу и уверенность, которой не было у меня самого. Но стремление к симбиозу с кем-либо другим всегда вызывается неспособностью выдержать одиночество своего собственного "я". И тут становится ясно, почему мазохистские и садистские тенденции всегда связаны и перемешаны одна с другой. Внешне они кажутся взаимоисключающими, но в их основе лежит одна и та же потребность. Человек не бывает только садистом или только мазохистом; между активной и пассивной сторонами симбиотического комплекса существуют постоянные колебания, и зачастую бывает трудно определить, какая из этих сторон действует в данный момент, но в обоих случаях индивидуальность и свобода бывают утрачены.

С садизмом обычно связывают тенденции разрушительности и враждебности. Разумеется, в садистских стремлениях всегда обнаруживается больший или меньший элемент разрушительности. Но то же справедливо и в отношении мазохизма: любой анализ мазохистского характера обнаруживает такую же враждебность. По-видимому, главная разница состоит в том, что при садизме эта враждебность обычно более осознается и прямо проявляется в действии, в то время как при мазохизме враждебность бывает по большей части неосознанной и проявляется лишь в косвенной форме. Позже я постараюсь показать, что враждебность и разрушительность являются результатом подавления чувственной, эмоциональной и интеллектуальной экспансивности индивида; поэтому можно предположить, что эти свойства должны быть следствием тех же причин, какие вызывают потребность в симбиозе. Здесь же я хочу подчеркнуть, что садизм и разрушительность не идентичны, хотя часто бывают связаны друг с другом. Разрушительная личность стремится к уничтожению объекта, то есть к избавлению от него; садист же стремится властвовать объектом и потому страдает при его утрате.

Садизм — в том смысле, в каком мы о нем говорим, — может быть относительно свободен от разрушительности, может сочетаться с дружелюбием по отношению к своему объекту. Этот тип "любящего" садизма нашел классическое воплощение у Бальзака в "Утраченных иллюзиях". Это описание поясняет также, что мы имеем в виду, говоря о потребности в симбиозе. Вот отношения, возникшие между молодым Люсьеном и беглым каторжником, выдающим себя за аббата; вскоре после знакомства с Люсьеном, только что пытавшимся покончить с собой, аббат говорит: "...этот молодой человек не имеет уже ничего общего с поэтом, пытавшимся умереть. Я вытащил вас из реки, я вернул вас к жизни, вы принадлежите мне, как творение принадлежит творцу, как эфрит в волшебных сказках принадлежит гению... как тело — душе! Могучей рукой я поддержу вас на пути к власти, я обещаю вам жизнь, полную наслаждений, почестей, вечных празднеств... Никогда не ощутите вы недостатка в деньгах... Вы будете блистать, жить на широкую ногу, куда я, копаясь в грязи, буду закладывать основание блистательного здания вашего счастья. Я люблю власть ради власти! Я буду наслаждаться вашими наслаждениями, запретными для меня. Короче, я перевоплощусь в вас... Я хочу любить свое творение, создать его по образу и подобию своему, короче, любить его, как отец любит сына. Я буду мысленно разъезжать в твоём тильбюри, мой мальчик, буду радоваться твоим успехам у женщин, буду говорить: "Этот молодой красавец — я сам! Маркиз дю Рюампре создан мною, мною введен в

аристократический мир; его величие — творение рук моих, он и молчит и говорит, следуя моей воле, он советуется со мной во всем"".

Очень часто — и не только в обыденном словоупотреблении — садомазохизм смешивают с любовью. Особенно часто за проявления любви принимаются мазохистские явления. Полное самоотречение ради другого человека, отказ в его пользу от собственных прав и запросов — все это преподносится как образец "великой любви"; считается, что для любви нет лучшего доказательства, чем жертва и готовность отказаться от себя ради любимого человека. На самом же деле "любовь" в этих случаях является мазохистской привязанностью и коренится в потребности симбиоза. Если мы понимаем под любовью страстное и активное утверждение главной сущности другого человека, союз с этим человеком на основе независимости и полноценности обеих личностей, тогда мазохизм и любовь противоположны друг другу. Любовь основана на равенстве и свободе. Если основой является подчиненность и потеря целостности личности одного из партнеров, то это мазохистская зависимость, как бы ни рационализировалась такая связь. Садизм тоже нередко выступает под маской любви. Управляя другим человеком, можно утверждать, что это делается в его интересах, и это часто выглядит как проявление любви; но в основе такого поведения лежит стремление к господству.

Здесь у многих читателей возникнет вопрос: если садизм таков, как мы его определили, то не идентичен ли он стремлению к власти? Мы ответим так: садизм в наиболее разрушительных формах, когда другого человека истязают, это не то же самое, что жажда власти; но именно жажда власти является наиболее существенным проявлением садизма. В наши дни эта проблема приобрела особую важность. Со времен Гоббса на стремление к власти смотрели как на основной мотив человеческого поведения; но в следующие столетия все большее значение приобретали юридические и моральные факторы, направленные к ограничению власти. С возникновением фашизма жажда, власти и ее оправдание достигли небывалых размеров. Миллионы людей находятся под впечатлением побед, одержанных властью, и считают власть признаком силы. Разумеется, власть над людьми является проявлением превосходящей силы в сугубо материальном смысле: если в моей власти убить другого человека, то я "сильнее" его. Но в психологическом плане жажда власти коренится не в силе, а в слабости. В ней проявляется неспособность личности выстоять в одиночку и жить своей силой. Это отчаянная попытка приобрести заменитель силы, когда подлинной силы не хватает. Власть — это господство над кем-либо; сила — это способность к свершению, потенция. Сила в психологическом смысле не имеет ничего общего с господством; это слово означает обладание способностью. Когда мы говорим о бессилии, то имеем в виду не неспособность человека господствовать над другими, а его неспособность к самостоятельной жизни. Таким образом, "власть" и "сила" — это совершенно разные вещи, "господство" и "потенция" — отнюдь не совпадающие, а взаимоисключающие друг друга. Импотенция — если применять этот термин не только к сексуальной сфере, но и ко всем сферам человеческих возможностей — влечет за собой садистское стремление к господству. Пока и поскольку индивид силен, то есть способен реализовать свои возможности на основе свободы и целостности своей личности, господство над другими ему не нужно и он не стремится к власти. Власть — это извращение силы, точно так же как сексуальный садизм извращение половой любви.

По-видимому, садистские и мазохистские черты можно обнаружить в каждом человеке. На одном полюсе существуют индивиды, в личности которых эти черты преобладают, на другом — те, для кого они вовсе не характерны. О садистско-мазохистском характере можно говорить лишь в отношении первых из них. Термин "характер" мы применяем в динамическом смысле, в каком говорил о характере Фрейд. В его понимании характер — это не общая сумма шаблонов поведения, свойственных данному человеку, а совокупность доминантных побуждений, мотивирующих его поведение. Поскольку Фрейд предполагал, что основными мотивирующими силами являются сексуальные, он пришел к концепциям "орального" и "анального" (или "генитального") характера. Если не разделять его предположений, то приходится определить типы характеров как-то иначе, однако динамическая концепция должна остаться в силе. Человек, в личности которого доминируют некоторые движущие силы, не обязательно их осознает. Он может быть всецело охвачен садистскими стремлениями, но при этом будет уверен, что им движет лишь чувство долга. Он может даже не совершить ни одного садистского поступка, подавив свои склонности настолько, что вовсе не выглядит садистом. И, однако, детальный анализ его поведения, его фантазий, сновидений, мимики и жестов раскрывает садистские импульсы, действующие в более глубоких слоях его личности.

Характер человека, в котором преобладают садистско-мазохистские побуждения, может быть определен как садистско-мазохистский; но такие люди — не обязательно невротики. Является ли определенный тип характера "невротическим" или "нормальным" — это в значительной степени зависит от тех специальных задач, которые люди должны выполнять по своему социальному положению, и от тех шаблонов чувства и поведения, которые распространены в данном обществе, в данной культуре. Для огромной части низов среднего класса в Германии и в других европейских странах садистско-мазохистский характер является типичным; и, как будет показано, именно в характерах этого типа нашла живейший отклик идеология нацизма. Но поскольку термин "садистско-мазохистский" ассоциируется с извращениями и с неврозами, я предпочитаю говорить не о садистско-мазохистском, а об "авторитарном" характере, особенно когда речь идет не о невротиках, а о нормальных людях. Этот термин вполне оправдан, потому что садистско-мазохистская личность всегда характеризуется особым отношением к власти.

Такой человек восхищается властью и хочет подчиняться, но в то же время он хочет сам быть властью, чтобы другие подчинялись ему. Есть еще одна причина, по которой этот термин правомочен. Фашистские системы называют себя авторитарными ввиду доминирующей роли власти в их общественно-политической структуре. Термин "авторитарный характер" вбирает в себя и тот факт, что подобный склад характера определяет "человеческую базу" фашизма.

Прежде чем продолжить разговор об авторитарном характере, необходимо уточнить термин "авторитет", "власть". Власть — это не качество, которое человек "имеет", как имеет какую-либо собственность или физическое качество. Власть является результатом межличностных взаимоотношений, при которых один человек смотрит на другого как на высшего по отношению к себе. Но существует принципиальная разница между теми отношениями "высших" и "низших", которые можно определить как рациональный авторитет, и теми отношениями, которые можно назвать подавляющей властью.

Разъясню это на примере. Отношения между профессором и студентом основаны на превосходстве первого над вторым, как и отношения рабовладельца и раба. Но интересы профессора и студента стремятся к совпадению: профессор доволен, если ему удалось развить своего ученика; если это не получилось, то плохо для обоих. Рабовладелец стремится эксплуатировать раба: чем больше он из него выжмет, тем лучше для рабовладельца; в то же время раб всеми способами стремится защитить доступную ему долю счастья. Здесь интересы определенно антагонистичны, поскольку выигрыш одного обращается потерей для другого. В двух этих случаях превосходство имеет разные функции: в первом оно является условием помощи низшему, во втором — условием его эксплуатации.

Динамика власти в двух этих случаях тоже различна. Чем лучше студент учится, тем меньше разрыв между ним и профессором; иными словами, отношение "власть — подчинение" постепенно себя изживает. Если же власть служит основой эксплуатации, то со временем дистанция становится все больше и больше.

Различна в этих случаях и психологическая ситуация подчиненного. В первом случае у него преобладают элементы любви, восхищения и благодарности. Авторитет — это не только власть, но и пример, с которым хочется себя отождествить, частично или полностью. Во втором случае, когда подчинение причиняет низшему ущерб, против эксплуататора возникают чувства возмущения и ненависти. Однако ненависть раба может привести его к таким конфликтам, которые лишь усугубят его страдания, поскольку шансов на победу у него нет. Поэтому естественна тенденция подавить это чувство или даже заменить его чувством слепого восхищения. У этого восхищения две функции: во-первых, устранить болезненное и опасное чувство ненависти, а во-вторых, смягчить чувство унижения. В самом деле, если мой господин так удивителен и прекрасен, то мне нечего стыдиться в моем подчиненном положении; я не могу с ним равняться, потому что он настолько сильнее, умнее, лучше меня... И так далее. В результате при угнетающей власти неизбежно возрастание либо ненависти к ней, либо иррациональной сверхоценки и восхищения. При рациональном авторитете эти чувства изживаются, поскольку подчиненный становится сильнее и, следовательно, ближе к своему руководителю.

Различие между рациональной и насильственной властью лишь относительно. Даже в отношениях между рабом и его хозяином есть элементы пользы для раба: он получает хотя бы тот минимум пищи и защиты, без которого не смог бы работать на хозяина. Вместе с тем лишь в идеальных отношениях между учителем и учеником мы не найдем какого-то антагонизма интересов. Между двумя крайними случаями можно наблюдать множество промежуточных: отношения фабриканта и рабочего, фермера и его сына, главы семейства и его жены и т. д. Однако эти два типа власти принципиально отличаются друг от друга хотя на практике они всегда смешаны, — так что при анализе любой ситуации необходимо определять удельный вес каждого типа власти в данном конкретном случае.

Власть не обязательно должна воплощаться в каком-то лице, или институте, приказывающем что-либо делать или не делать; такую власть можно назвать внешней. Власть может быть и внутренней, выступая под именем долга, совести или "суперэго". Фактически вся современная мысль — от протестантизма и до философии Канта —

представляет собой подмену внешней власти властью интериоризованной. Поднимавшийся средний класс одерживал одну политическую победу за другой, и внешняя власть теряла свой престиж, но ее место занимала личная совесть. Эта замена многим казалась победой свободы. Подчиняться приказам со стороны (во всяком случае, в духовной сфере) казалось недостойным свободного человека. Но подавление своих естественных наклонностей, установление господства над одной частью личности — над собственной натурой — другую часть личности — разумом, волей и совестью это представлялось самой сущностью свободы. Но анализ показывает, что совесть правит не менее сурово, чем внешняя власть, и, более того, что содержание приказов совести зачастую совершенно не соответствует требованиям этических норм в отношении человеческого достоинства. Своей суровостью совесть может и превзойти внешнюю власть: ведь человек ощущает ее приказы как свои собственные. Как же ему восстать против себя самого?

За последние десятилетия "совесть" в значительной мере потеряла свой вес. Это выглядит так, будто в личной жизни ни внешние, ни внутренние авторитеты уже не играют сколь-нибудь заметной роли. Каждый совершенно "свободен", если только не нарушает законных прав других людей. Но обнаруживается, что власть при этом не исчезла, а стала невидимой. Вместо явной власти правит власть "анонимная". У нее множество масок: здравый смысл, наука, психическое здоровье, нормальность, общественное мнение; она требует лишь того, что само собой разумеется. Кажется, что она не использует никакого давления, а только мягкое убеждение. Когда мать говорит своей дочери:

"Я знаю, ты не захочешь идти гулять с этим мальчиком", когда реклама предлагает: "Курите эти сигареты, вам понравится их мягкость", — создается та атмосфера вкрадчивой подсказки, которой проникнута вся наша общественная жизнь. Анонимная власть эффективнее открытой, потому что никто и не подозревает, что существует некий приказ, что ожидается его выполнение. В случае внешней власти ясно, что приказ есть, ясно, кто его отдал; против этой власти можно бороться, в процессе борьбы может развиваться личное мужество и независимость. В случае интериоризованной власти нет командира, но хотя бы сам приказ остается различимым. В случае анонимной власти исчезает и приказ. Вы словно оказываетесь под огнем невидимого противника: нет никого, с кем можно было бы сражаться.

Возвращаясь к авторитарному характеру, заметим снова, что наиболее специфической его чертой является отношение к власти и силе. Для авторитарного характера существуют, так сказать, два пола: сильные и бессильные. Сила автоматически вызывает его любовь и готовность подчиниться независимо от того, кто ее проявил. Сила привлекает его не ради тех ценностей, которые за нею стоят, а сама по себе, потому что она — сила. И так же, как сила автоматически вызывает его "любовь", бессильные люди или организации автоматически вызывают его презрение. При одном лишь виде слабого человека он испытывает желание напасть, подавить, унижить. Человек другого типа ужасается самой идее напасть на слабого, но авторитарная личность ощущает тем большую ярость, чем беспомощнее ее жертва.

В авторитарном характере есть одна особенность, которая вводила в заблуждение многих исследователей: тенденция сопротивляться власти и отвергать любое влияние "сверху".

Иногда это сопротивление затемняет всю картину, так что тенденции подчинения становятся незаметны. Такой человек постоянно бунтует против любой власти, даже против той, которая действует в его интересах и совершенно не применяет репрессивных мер. Иногда отношение к власти раздваивается:

люди могут бороться против одной системы власти, особенно если они разочарованы недостаточной силой этой системы, и в то же время — или позже — подчиняются другой системе, которая за счет своей большей мощи или больших обещаний может удовлетворить их мазохистские влечения. Наконец, существует такой тип, в котором мятежные тенденции подавлены совершенно и проявляются только при ослаблении сознательного контроля (либо могут быть узнаны лишь впоследствии по той ненависти, которая поднимается против этой власти в случае ее ослабления или крушения). С людьми, у которых мятежность преобладает, можно легко ошибиться, решив, что структура их характера прямо противоположна характеру мазохистского типа. Кажется, что их протест против любой власти основан на крайней независимости; они выглядят так, будто внутренняя сила и целостность толкают их на борьбу с любыми силами, ограничивающими их свободу. Однако борьба авторитарного характера против власти является, по сути дела, бравадой. Это попытка утвердить себя, преодолеть чувство собственного бессилия, но; мечта подчиниться, осознанная или нет, при этом сохраняется. Авторитарный характер — никогда не "революционер", я бы назвал его "бунтовщиком". Множество людей — и политических движений — изумляют не очень внимательного наблюдателя кажущейся необъяснимостью перехода от "радикализма" к крайнему авторитаризму. Психологически эти люди — типичные бунтовщики.

Отношение авторитарного характера к жизни, вся его философия определяется его эмоциональными стремлениями. Авторитарный характер любит условия, ограничивающие свободу человека, он с удовольствием подчиняется судьбе. Определение "судьба" зависит от его социального положения. Для солдата она может означать волю или прихоть его начальника, которую он "рад стараться" выполнить. Для мелкого предпринимателя это экономические законы; кризисы или процветание — это для него не общественные явления, которые могут быть изменены человеческой деятельностью, а проявления высшей силы, которой приходится подчиняться. У тех, кто находится на вершине пирамиды, тоже есть своя "судьба". Различие лишь в масштабе власти и силы, которым подчиняется индивид, а не в чувстве подчиненности как таковом.

Не только силы, непосредственно определяющие личную жизнь человека, но и силы, от которых зависит жизнь вообще, воспринимаются как неумолимая судьба. По воле судьбы происходят войны, по воле судьбы одна часть человечества должна управлять другой; так уж суждено, что никогда не уменьшится страдание на этом свете. Судьба может рационализироваться. В философии это — "предназначение человека", "естественный закон"; в религии — "воля господня"; в этике — "долг"; но для авторитарной личности это всегда высшая внешняя власть, которой можно только подчиняться. Авторитарная личность преклоняется перед прошлым: что было — будет вечно; хотеть чего-то такого, чего не было раньше, работать во имя нового — это или безумие, или преступление. Чудо творчества — а творчество всегда чудо не вмещается в его понятия.

Шляйермахер определил религиозное чувство как чувство абсолютной зависимости. Это определение подходит ко всякому мазохистскому чувству, но в религиозном чувстве зависимости особую роль играет грех. Концепция первородного греха, тяготеющего над всеми следующими поколениями, очень характерна для авторитарного мышления. Моральное падение, как и всякое другое падение человека, становится судьбой, от которой не спастись. Однажды согрешив, человек навечно прикован к своему греху железной цепью. Последствия вины можно смягчить раскаянием, но раскаяние никогда не искупает вину до конца[50]. Слова из книги пророка Исайи: "Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю" — являют прямую противоположность авторитарной философии.

Общая черта всего авторитарного мышления состоит в убеждении, что жизнь определяется силами, лежащими вне человека, вне его интересов и желаний. Единственно возможное счастье состоит в подчинении этим силам. Один из идеологических отцов нацизма, Меллер ван дер Брук, очень четко выразил это ощущение: "Консерватор, скорее, верит в катастрофу, в бессилие человека избежать ее, в ее необходимость — и в ужасное разочарование обольщавшегося оптимиста". В писаниях Гитлера мы увидим проявление того же духа.

Авторитарная личность может обладать и активностью, и смелостью, и верой, но эти качества имеют для нее совсем не тот смысл, какой имеют для человека, не стремящегося к подчинению. У авторитарного характера активность основана на глубоком чувстве бессилия, которое он пытается преодолеть. Активность в этом смысле означает действие во имя чего-то большего, чем его собственное "я". Оно возможно во имя бога, во имя прошлого, долга, природы, но никогда во имя будущего, во имя чего-то такого, что еще не имеет силы, во имя жизни как таковой. Авторитарная личность обретает силу к действию, лишь опираясь на высшую силу. Она должна быть несокрушима и неизменна. Недостаток силы служит для такого человека безошибочным признаком вины и неполноценности; если власть, в которую он верит, проявляет признак слабости, то его любовь и уважение превращаются в презрение и ненависть. В нем нет "наступательной силы", позволяющей атаковать установившуюся власть, не отдавшись перед тем в рабство другой, более сильной власти.

Мужество авторитарной личности состоит в том, чтобы выдержать все, что бы ни послала ей судьба или живой ее представитель — вождь. Страдать безропотно — в этом высшая добродетель и заслуга такого человека, а не в том, чтобы попытаться прекратить эти страдания или по крайней мере уменьшить их. Не изменять судьбу, а подчиняться ей — в этом героизм авторитарного характера.

Он верит власти, пока эта власть сильна и может повелевать. Но эта вера коренится в конечном счете в его сомнениях и является попыткой компенсировать их. Но если понимать под верой твердое убеждение в осуществимости некоторой цели, в данный момент существующей лишь в виде возможности, то такой веры у него нет. По своей сути авторитарная философия является нигилистической и релятивистской, несмотря на видимость ее активности, несмотря на то, что она часто и рьяно заявляет о своей полной победе над релятивизмом. Вырастая на крайнем отчаянии, на полнейшем отсутствии веры, эта философия ведет к нигилизму и отрицанию жизни.

В авторитарной философии нет понятия равенства. Человек с авторитарным характером может иногда воспользоваться словом "равенство" в обычном разговоре — или ради своей выгоды, — но для него это слово не имеет никакого реального смысла, поскольку относится к понятию, которое он не в состоянии осмыслить. Мир для него состоит из людей, имеющих или не имеющих силу и власть, то есть из высших и низших. Садистско-мазохистские стремления приводят его к тому, что он способен только к господству или к подчинению; он не может испытывать солидарности. Любые различия — будь то пол или раса — для него обязательно являются признаками превосходства или неполноценности. Различие, которое не имело бы такого смысла, для него просто невообразимо.

Приведенное выше описание садистско-мазохистского стремления и авторитарного характера относится к наиболее резко выраженным формам собственной беспомощности и соответственно к наиболее выраженным формам бегства от нее путем симбиотического отношения к объекту поклонения или господства.

Лишь отдельные индивиды либо социальные группы могут рассматриваться как типично садистско-мазохистские, но садистско-мазохистские побуждения существуют практически у всех. Менее выраженная форма зависимости распространена в нашем обществе настолько широко, что ее полное отсутствие составляет, по-видимому, лишь редкое исключение. Эта зависимость не имеет опасных черт необузданного садомазохизма, но настолько важна, что ее нельзя обойти молчанием.

Я имею в виду людей, вся жизнь которых трудноуловимым способом связана с некоторой внешней силой Z. Все, что они делают, чувствуют или думают, имеет какое-то отношение к этой силе. Люди ожидают, что некто их защитит, что "он" позаботится о них, и возлагают на "него" ответственность за результаты своих собственных поступков. Часто человек не осознает, что такая зависимость существует. Даже если есть смутное сознание самой зависимости, внешняя сила, от которой человек зависит, остается неясной: нет определенного образа, который был бы связан с этой силой. Главное ее качество определяется функцией: она должна защищать индивида, помогать ему, развивать его и всегда быть с ним рядом. Некий "Икс", обладающий этими свойствами, может быть назван волшебным помощником. Разумеется, что "волшебный помощник" часто персонифицирован: это может быть бог, или некий принцип, или реальный человек, например кто-то из родителей, муж, жена или начальник. Важно иметь в виду, что когда реальные люди наделяются ролью "волшебного помощника", то им приписываются волшебные качества; значение, которое приобретают эти люди, является следствием этой их роли. Процесс персонификации "волшебного помощника" часто можно наблюдать в том, что называется "любовью с первого взгляда". Человек, которому нужен "волшебный помощник", стремится найти его живое воплощение. По тем или иным причинам они часто усиливаются половым влечением — некий другой человек приобретает для него волшебные качества, и он превращает этого человека в существо, с которым отныне связана и от которого зависит вся его жизнь. Тот факт, что этот второй человек находит своего "волшебного помощника" в первом, ничего не меняет; это только помогает усилить впечатление, будто такие отношения являются "настоящей любовью".

В психоаналитической процедуре эту потребность в "волшебном помощнике" можно изучать почти в экспериментальных условиях. У человека, проходящего эту процедуру, часто возникает глубокая привязанность к психоаналитику; тогда вся его (или ее) жизнь, все действия, все помыслы и чувства связываются с аналитиком. Сознательно или бессознательно пациент спрашивает себя: был бы он (аналитик) обрадован этим, недоволен тем, согласился бы с этим, ругал бы меня за то? В любовных отношениях сам факт выбора какого-то человека в качестве партнера считается доказательством, что его любят как вполне определенную личность, просто потому, что это "он". Но в случае психоаналитической процедуры такая иллюзия рассеивается: у самых разных людей развиваются совершенно одинаковые чувства к самым разным психоаналитикам. Это отношение похоже на любовь, оно часто сопровождается половым влечением; но в своей основе — это отношение к персонифицированному "волшебному помощнику". Естественно, что для человека, который ищет себе "волшебного помощника", психоаналитик может удовлетворительно сыграть эту роль, как мог бы и кто-либо другой, обладающий каким-то авторитетом: врач, священник или учитель.

Причины, по которым человек бывает привязан к "волшебному помощнику", в принципе те же, какие мы нашли в основе стремления к симбиозу: неспособность выдержать одиночество и полностью реализовать свои индивидуальные возможности. В садистско-мазохистских стремлениях эта неспособность приводит к тенденции избавиться с помощью "волшебного помощника" от собственного "я"; в более спокойных формах, о которых мы говорим сейчас, она выражается лишь в потребности иметь наставника и защитника. Степень зависимости от "волшебного помощника" обратно пропорциональна способности к спонтанному проявлению своих интеллектуальных, эмоциональных и чувственных возможностей. Иными словами, человек надеется получить все, чего он хочет от жизни, из рук "волшебного помощника", а не своими собственными усилиями. Чем сильнее проявляется эта тенденция, тем больше центр тяжести его жизни смещается с его собственной личности в сторону "волшебного помощника" и его персонификаций. И вопрос стоит уже не о том, как жить самому, а о том, как манипулировать "им", чтобы его не потерять, как побудить его делать то, что вам нужно, и даже как переложить на него ответственность за ваши поступки.

В крайних случаях почти вся жизнь человека сводится к попыткам манипулировать "им". Средства для этого могут быть различны: одни используют покорность, другие — "великодушие", третьи — свои страдания и т. д. При этом каждое чувство, каждая мысль как-то связаны с потребностью манипулировать "им", так что ни одно проявление психики уже не может быть спонтанным, свободным. Эта зависимость, возникая из недостатка спонтанности, в то же время дает человеку какую-то защищенность, но вместе с тем вызывает и чувство слабости, связанности. В результате человек, зависящий от "волшебного помощника", ощущает — часто бессознательно — свое порабощение и так или иначе бунтует против "него". Этот бунт против человека, с которым связаны все надежды на безопасность и счастье, создает новые конфликты. Чтобы не потерять "волшебного помощника", необходимо подавлять свои мятежные тенденции; но скрытый антагонизм остается и постоянно угрожает той безопасности, которая и является целью связи.

Если "волшебный помощник" персонифицирован в живом человеке, то рано или поздно наступает разочарование в нем, поскольку этот человек не оправдал возлагавшихся на него надежд. Надежды были иллюзорны с самого начала, потому разочарование неизбежно: ни один реальный человек не может оправдать сказочных ожиданий. Это разочарование накладывается на возмущение, вытекающее из порабощенности, и ведет к новым конфликтам. Иногда они прекращаются лишь с разрывом; затем обычно следует выбор другого объекта, от которого вновь ожидается исполнение всех надежд, связанных с "волшебным помощником". Когда выясняется, что и эта связь была ошибкой, она снова может быть разорвана — либо человек решает, что "такова жизнь", и смиряется. Он не понимает при этом, что его крах обусловлен не плохим выбором "волшебного помощника", а самим стремлением добиться своих целей путем манипуляций с волшебными силами вместо собственной спонтанной активности.

Фрейд заметил явление пожизненной зависимости от внешнего объекта. Он истолковал это как продолжение ранних, сексуальных в своей основе, связей с родителями на всю жизнь. Этот феномен произвел на него такое впечатление, что он видел в эдиповом комплексе основу всех неврозов и считал успешное преодоление этого комплекса главной проблемой нормального развития.

Увидев в эдиповом комплексе центральное явление психологии, Фрейд сделал одно из величайших психологических открытий, однако правильно истолковать его не смог. Хотя на самом деле существует сексуальное влечение между родителями и детьми, хотя на самом деле конфликты, вытекающие из этого влечения, иногда становятся одной из причин развития неврозов, все же ни сексуальные влечения, ни вытекающие из них конфликты не являются основой фиксации детей по отношению к родителям. Пока ребенок мал, он, вполне естественно, зависит от родителей, но эта зависимость совсем необязательно приводит к стеснению непосредственности ребенка. Однако, если родители, действуя как представители общества, начинают подавлять спонтанность и независимость ребенка, с возрастом ребенок все больше чувствует свою неспособность стоять на собственных ногах. Потому он ищет себе "волшебного помощника" и часто персонифицирует "его" в своих родителях. Позднее индивид переносит свои чувства на кого-нибудь другого, например на учителя, супруга или психоаналитика. Но эта потребность связать себя с каким-то символом авторитета вызывается вовсе не продолжением первоначального сексуального влечения к одному из родителей, а подавлением экспансивности и спонтанности ребенка и вытекающим отсюда беспокойством.

Наблюдения показывают, что сущность любого невроза — как и нормального развития — составляет борьба за свободу и независимость. Для многих нормальных людей эта борьба уже позади: она завершилась полной капитуляцией; принеся в жертву свою личность, они стали хорошо приспособленными и считаются нормальными. Невротик — это человек, продолжающий сопротивляться полному подчинению, но в то же время связанный с фигурой "волшебного помощника", какой бы облик "он" не принимал. Невроз всегда можно понять как попытку — неудачную попытку — разрешить конфликт между непреодолимой внутренней зависимостью и стремлением к свободе.

## 2. Разрушительность

Мы уже упоминали, что садистско-мазохистские стремления необходимо отличать от разрушительности, хотя они по большей части бывают взаимосвязаны. Разрушительность отличается уже тем, что ее целью является не активный или пассивный симбиоз, а уничтожение, устранение объекта. Но корни у нее те же: бессилие и изоляция индивида. Я могу избавиться от чувства собственного бессилия по сравнению с окружающим миром, разрушая этот мир. Конечно, если мне удастся его устранить, то я окажусь совершенно одинок, но это будет блестящее одиночество; это такая изоляция, в которой мне не будут угрожать никакие внешние силы. Разрушить мир — это последняя, отчаянная попытка не дать этому миру разрушить меня. Целью садизма является поглощение объекта, целью разрушительности — его устранение. Садизм стремится усилить одинокого индивида за счет его господства над другими, разрушительность — за счет ликвидации любой внешней угрозы.

Каждого, кто наблюдает личные отношения в нашей социальной обстановке, поражает колоссальный уровень разрушительных тенденций, которые обнаруживаются повсюду. По большей части они не осознаются как таковые, а рационализируются в различных формах. Пожалуй, нет ничего на свете, что не использовалось бы как рационализация разрушительности. Любовь, долг, совесть, патриотизм — их использовали и используют для маскировки разрушения себя самого и других людей. Однако необходимо делать различие между двумя видами разрушительных тенденций. В конкретной ситуации эти тенденции могут возникнуть как реакция на нападение, угрожающее жизни или целостности самого индивида либо других людей или идеям, с которыми он себя отождествляет. Разрушительность такого рода — это естественная и необходимая составляющая утверждения жизни. Но мы рассматриваем здесь не эту рациональную враждебность, а ту разрушительность, которая является постоянно присутствующей внутренней тенденцией и ждет лишь повода для своего проявления. Если такая разрушительность проявляется без какой-либо объективной "причины", то мы считаем человека психически или эмоционально больным (хотя сам он, как правило, придумывает какую-нибудь рационализацию). В огромном большинстве случаев разрушительные стремления рационализируются таким образом, что по меньшей мере несколько человек или целая социальная группа — разделяют эту рационализацию и она им кажется "реалистичной". Но объекты иррациональной разрушительности — и причины, по которым выбраны именно эти объекты, — сами по себе второстепенны; разрушительные импульсы — это проявления внутренней страсти, которая всегда находит себе какой-нибудь объект. Если по каким-либо причинам этим объектом не могут стать другие люди, то разрушительные тенденции индивида легко направляются на него самого. Когда они достигают некоторого уровня, это приводит к физическому заболеванию или даже к попытке самоубийства.

Мы предположили, что разрушительность — это средство избавления от невыносимого чувства бессилия, поскольку она нацелена на устранение всех объектов, с которыми индивиду приходится себя сравнивать. Но если принять во внимание огромную роль разрушительных тенденций в человеческом поведении, то такое объяснение кажется недостаточным. Сами условия изоляции и бессилия порождают и два других источника

разрушительности: тревогу и скованность. По поводу тревоги все достаточно ясно. Любая угроза жизненным интересам (материальным или эмоциональным) возбуждает тревогу, а самая обычная реакция на нее — разрушительные тенденции. В определенной ситуации угроза может связываться с определенными людьми, и тогда разрушительность направляется на этих людей. Но тревога может быть и постоянной, хотя и не обязательно осознанной; такая тревога возникает из столь же постоянного ощущения, что окружающий мир вам угрожает. Эта постоянная тревога является следствием изоляции и бессилия индивида и в то же время еще одним источником накапливающихся в нем разрушительных тенденций.

Из той же основной ситуации происходит ощущение, которое я назвал скованностью. Изолированный и бессильный индивид испытывает ограничения в реализации своих чувственных, эмоциональных и интеллектуальных возможностей; ему не хватает внутренней уверенности, спонтанности, которая является условием такой реализации. Внутренняя блокада усиливается табу, наложенными обществом на счастье и наслаждение, вроде тех, которые пронизывают мораль и нравы среднего класса со времен Реформации. В наши дни внешние запреты практически исчезли, однако внутренняя скованность сохранилась, несмотря на сознательное приятие чувственных наслаждений.

Проблема взаимосвязи между скованностью и разрушительностью была затронута Фрейдом; при изложении его теории мы сможем высказать и некоторые собственные соображения.

Фрейд понял, что в своей первоначальной концепции, рассматривавшей половое влечение и стремление к самосохранению как две главные движущие силы человеческого поведения, он упустил из виду роль и значение разрушительных побуждений. Позднее, решив, что разрушительные тенденции столь же важны, как и сексуальные влечения, он пришел к выводу, что в человеке проявляются два основных стремления: стремление к жизни, более или менее идентичное сексуальному "либидо", и инстинкт смерти, имеющий целью уничтожение жизни. Фрейд предположил, что инстинкт смерти, спавленный с сексуальной энергией, может быть направлен либо против самого человека, либо против объектов вне его. Кроме того, он предположил, что инстинкт смерти биологически заложен во всех живых организмах и поэтому является необходимой и неустранимой составляющей жизни вообще.

Гипотеза о существовании инстинкта смерти обладает тем достоинством, что отводит важное место разрушительным тенденциям, которые не принимались во внимание в ранних теориях Фрейда. Но биологическое истолкование не может удовлетворительно объяснить тот факт, что уровень разрушительности в высшей степени различен у разных индивидов и разных социальных групп. Если бы предположения Фрейда были верны, следовало бы ожидать, что уровень разрушительности, направленной против других или против себя, окажется более или менее постоянным. Однако наблюдается обратное: не только между различными индивидами, но и между различными социальными группами существует громадная разница в весе разрушительных тенденций. Так, например, вес этих тенденций в структуре характера представителей низов европейского среднего класса определенно и значительно выше, нежели в среде рабочих или представителей социальной верхушки. Этнографические исследования познакомили нас с целыми народами, для которых характерен особенно высокий уровень разрушительности; между тем другие народа

проявляют столь же заметное отсутствие разрушительных тенденций — как по отношению к другим людям, так и по отношению к себе.

По-видимому, любая попытка понять корни разрушительности должна начинаться с наблюдения, именно этих различий. Затем необходимо установить, нет ли других различающих факторов и не могут ли эти факторы быть причиной упомянутых различий в уровне разрушительности.

Эта проблема настолько сложна, что потребовала бы специального исследования; его мы здесь провести не можем. Однако я хотел бы предположительно указать, в каком направлении следует искать ответ. Кажется правдоподобным, что уровень разрушительности в индивиде пропорционален той степени, до какой ограничена его экспансивность. Мы имеем в виду не отдельные фрустрации того или иного инстинктивного влечения, а общую скованность, препятствующую спонтанному развитию человека и проявлению всех его чувственных, эмоциональных и интеллектуальных возможностей. У жизни своя собственная динамика:

человек должен расти, должен проявить себя, должен прожить свою жизнь. По-видимому, если эта тенденция подавляется, энергия, направленная к жизни, подвергается распаду и превращается в энергию, направленную к разрушению. Иными словами, стремление к жизни и тяга к разрушению не являются взаимно независимыми факторами, а связаны обратной зависимостью. Чем больше проявляется стремление к жизни, чем полнее жизнь реализуется, тем слабее разрушительные тенденции; чем больше стремление к жизни подавляется, тем сильнее тяга к разрушению. Разрушительность — это результат непрожитой жизни. Индивидуальные или социальные условия, подавляющие жизнь, вызывают страсть к разрушению, наполняющую своего рода резервуар, откуда вытекают всевозможные разрушительные тенденции — по отношению к другим и к себе.

Само собой понятно, насколько важно не только осознать роль разрушительности и враждебности в динамике социального процесса, но и понять, какие именно факторы способствуют их усилению. Мы уже говорили о враждебности, которой был охвачен средний класс в период Реформации и которая нашла свое выражение в некоторых религиозных доктринах протестантства. Особенно это заметно в аскетическом духе протестантства, в кальвинистском образе безжалостного бога, для собственного удовольствия осудившего часть людей на вечные муки без всякой их вины. В то время — как. и позднее — средний класс выражал свою враждебность главным образом под маской морального негодования, которое рационализировало жгучую зависть к тем, у кого была возможность наслаждаться жизнью. В наше время разрушительные тенденции низов среднего класса стали важным фактором в развитии нацизма, который апеллировал к этим тенденциям и использовал их в борьбе со своими противниками. Источники разрушительности в этом социальном слое легко определить: это все та же изоляция индивида, все то же: подавление индивидуальной экспансивности, о которых мы уже говорили и которые в низах среднего класса гораздо ощутимее, чем в выше- или нижестоящих классах общества.

### 3. Автоматизирующий конформизм

С помощью рассмотренных нами механизмов "бегства" индивид преодолевает чувство своей ничтожности по сравнению с подавляюще мощным внешним миром, или за счет отказа от собственной целостности, или за счет разрушения других, для того чтобы мир перестал ему угрожать.

Другие механизмы "бегства" состоят в полном отрешении от мира, при котором мир утрачивает свои угрожающие черты (эту картину мы видим в некоторых психозах), либо в психологическом самовозвеличении до такой степени, что мир, окружающий человека, становится мал в сравнении с ним. Эти механизмы "бегства" важны для индивидуальной психологии, но не представляют большого интереса в смысле общественной значимости. Поэтому я не стану их здесь обсуждать, а обращусь к еще одному механизму, чрезвычайно важному в социальном плане.

Именно этот механизм является спасительным решением для большинства нормальных индивидов в современном обществе. Коротко говоря, индивид перестает быть собой; он полностью усваивает тип личности, предлагаемый ему общепринятым шаблоном, и становится точно таким же, как все остальные, и таким, каким они хотят его видеть. Исчезает различие между собственным "я" и окружающим миром, а вместе с тем и осознанный страх перед одиночеством и бессилием. Этот механизм можно сравнить с защитной окраской некоторых животных: они настолько похожи на свое окружение, что практически неотличимы от него. Отказавшись от собственного "я" и превратившись в робота, подобного миллионам других таких же роботов, человек уже не ощущает одиночества и тревоги. Однако за это приходится платить утратой своей личности.

Итак, мы полагаем, что "нормальный" способ преодоления одиночества в нашем обществе состоит в превращении в автомат. Но такая точка зрения противоречит одному из самых распространенных представлений о человеке нашей культуры; принято думать, что большинство из нас — личности, способные думать, чувствовать и действовать свободно, по своей собственной воле. Каждый человек искренне убежден, что он — это "он", что его мысли, чувства и желания на самом деле принадлежат "ему". Но хотя среди нас встречаются и подлинные личности, в большинстве случаев такое убеждение является иллюзией, и притом иллюзией опасной, ибо она препятствует ликвидации причин, обусловивших такое положение.

Здесь мы сталкиваемся с одной из самых главных проблем психологии, которую проще всего разъяснить с помощью ряда вопросов. Что такое "я"? Какова природа действий, которые лишь кажутся собственными? Что такое спонтанность? Что такое самобытный психический акт? И наконец, какое отношение все это имеет к свободе? В этом разделе мы покажем, как чувства и мысли могут внушаться со стороны, но субъективно восприниматься как собственные, а также как собственные чувства и мысли могут быть подавлены и тем самым изъяты из личности человека. Обсуждение поднятых здесь вопросов мы продолжим в главе "Свобода и демократия".

Начнем наше рассуждение с анализа того смысла, который вкладывается в утверждения: "я чувствую", "я думаю", "я хочу". Когда мы говорим "я думаю", это кажется вполне однозначным утверждением. Единственный возникающий при этом вопрос состоит в том,

верно я думаю или ошибаюсь; но я думаю или не я — такой вопрос вообще не приходит в голову. Между тем этот вопрос далеко не так странен, как кажется и это можно доказать экспериментом. Сходим на сеанс гипноза. Вот субъект А, гипнотизер В погружает его в гипнотический сон и внушает ему, что, проснувшись, он захочет прочесть рукопись, не найдет ее, решит, что другой человек, В, эту рукопись украл, и очень рассердится на этого В. В завершение ему говорится, что он должен забыть об этом внушении. Добавим, что наш А никогда не испытывал ни малейшей антипатии к В, и напомним, что никакой рукописи у него не было.

Что же происходит? А просыпается и после непродолжительной беседы на какую-нибудь тему вдруг заявляет: "Да, кстати! Я написал недавно что-то в этом роде. У меня рукопись с собой, давайте я вам прочту". Он начинает искать свою рукопись, не находит ее, поворачивается к В и спрашивает, не взял ли тот его рукопись. В отвечает, что не брал, что никакой рукописи вообще не видел. Внезапно А взрывается яростью и прямо обвиняет В в краже рукописи. Затем он приводит доводы, из которых следует, что В — вор. Он от кого-то слышал, что его рукопись крайне нужна В, В воспользовался моментом... и т. д. и т. д. Мы слышим не только обвинения в адрес В, но и целый ряд рационализации, которые должны придать этим обвинениям правдоподобный вид. Естественно, что все они ложны и прежде никогда не пришли бы ему в голову.

Предположим, что в этот момент в зал входит новый человек. У него не возникнет и тени сомнения, говорит ли А именно то, что думает и чувствует; единственный вопрос, какой он может задать, справедливы ли обвинения А в адрес В, то есть соответствует ли содержание мыслей А реальным фактам. Но мы, видевшие все с самого начала, не станем спрашивать, насколько справедливы эти обвинения. Мы знаем, что здесь никакого вопроса нет; мы уверены: все, что сейчас думает и чувствует А, — это не его мысли и чувства, а чужеродные элементы, заложенные в его голову другим человеком.

Рассуждения вновь вошедшего будут примерно таковы: "Вот А, по которому ясно видно, что он на самом деле все это думает. Относительно его чувств тоже нет лучшего свидетельства, чем его собственные слова. Вот другие люди, утверждающие, что его мысли ему навязаны. По правде сказать, трудно разобраться, кто здесь прав. Наверно, все-таки они: их много, так что вероятность одной и той же ошибки слишком мала". Мы с вами видели весь эксперимент с начала, и у нас никаких сомнений нет; если вновь вошедший человек был на гипнотических сеансах, то сомнений не будет и у него. В этом случае он будет заведомо знать, что подобные эксперименты можно повторять сколько угодно раз, с разными людьми и разным содержанием внушений. Гипнотизер может внушить, что сырая картофелина — это превосходный ананас, и субъект будет есть ее, ощущая вкус ананаса; или — что он слепой, и он на самом деле перестанет видеть; или — что субъект считает Землю плоской, и тот будет с пеной у рта доказывать, что Земля плоская.

Что доказывает гипнотический эксперимент, а особенно послегипнотическое поведение? Он доказывает, что у нас могут быть мысли, чувства, желания и даже ощущения, которые мы субъективно воспринимаем как наши собственные, хотя на самом деле это не так. Мы действительно испытываем эти чувства, ощущения и т. д., но они навязаны нам со стороны, по существу, нам чужды и могут не иметь ничего общего с тем, что мы думаем и чувствуем

на самом деле.

Описанный нами гипнотический эксперимент показывает, что субъект, во-первых, чего-то хочет (в данном случае прочесть свою рукопись); во-вторых, нечто думает (что В ее взял); в-третьих, что-то чувствует (раздражение против В). При этом все три психических акта — его волевой импульс, мысль и чувство — не являются его собственными, не являются результатом его собственной психической деятельности. Они не возникли в нем самом, они заложены в него, но при этом ощущаются так, как если бы были собственными. Он высказывает и целый ряд мыслей, которые не были ему внушены под гипнозом; однако рационализации, которыми он "объясняет" свою уверенность в том, что В украл рукопись, являются его собственными мыслями лишь формально. Они вроде бы объясняют его подозрение; но мы-то знаем, что подозрение появилось раньше; что рационализирующие мысли изобретены лишь для того, чтобы оправдать уже существующее чувство. Не подозрение вытекает из этих мыслей, а наоборот.

Мы начали с гипнотического эксперимента, потому что в нем самым неопровержимым образом проявляется следующее: человек может быть убежден в спонтанности своих психических актов, в то время как они возникают под влиянием другого лица в некоторых специальных условиях. Но это явление отнюдь не ограничивается особой ситуацией гипноза. Содержание наших мыслей, чувств и желаний бывает индуцировано извне, не является своим собственным настолько часто, что эти псевдоакты, пожалуй, являются правилом, а исключения составляют подлинно самобытные мысли и чувства.

Псевдомышление известно лучше, чем аналогичные явления в сфере желаний и чувств. Поэтому для начала лучше разобраться в различии между истинным мышлением и псевдомышлением. Предположим, что мы с вами на острове, где встречаем местных рыбаков и дачников-горожан. Мы хотим узнать, какая будет погода; спрашиваем об этом рыбака и двух дачников, про которых знаем, что все они слышали прогноз по радио. Рыбак, имеющий большой опыт и постоянно заинтересованный в погоде, задумается, если еще не составил себе мнения до разговора с нами. Зная, что направление ветра, температура, влажность и т. д. являются исходными данными для предсказания погоды, он взвесит относительное значение различных факторов и придет к более или менее определенному заключению. Вероятно, он вспомнит и прогноз, переданный по радио, и приведет его в подтверждение своего мнения (или скажет, что вот то-то и то-то не сходится); в случае расхождения он будет особенно осторожен в оценке собственных соображений. Но во всяком случае, он скажет нам свое мнение, результат своего размышления, а это — единственное, что важно для нашего анализа.

Первый из опрошенных нами горожан — человек, который в погоде не разбирается и знает об этом; ему это не нужно. Он отвечает: "Знаете, я в этом ничего не понимаю. Все, что могу вам сказать, — прогноз был вот такой". Другой дачник — это человек совсем другого плана. Он из тех людей, кто чувствует себя обязанным уметь ответить на любой вопрос; он полагает, что прекрасно разбирается в погоде, хотя на деле это далеко от истины. Немного подумав, он сообщает нам "свое" мнение, в точности совпадающее с прогнозом. Мы спрашиваем, почему он так думает, и он отвечает, что пришел к такому заключению, исходя из направления ветра, температуры и т. д.

Поведение этого человека внешне не отличается от поведения рыбака, но, если разобраться, становится очевидно, что он просто усвоил прогноз. Однако он ощущает потребность иметь собственное мнение и поэтому забывает, что просто-напросто повторяет чье-то авторитетное утверждение; он верит, что пришел к определенному выводу на основании собственных размышлений, на самом же деле он просто усвоил мнение авторитета, сам того не заметив. Ему кажется, что у него были основания прийти к этому мнению, и он нам эти основания излагает; но, если проверить, окажется, что он вообще не смог бы сделать из них никакого вывода. Очень может быть, что он предскажет погоду правильно, а рыбак ошибется, но это дела не меняет: правильное мнение такого горожанина не является собственным, а ошибочное мнение рыбака собственное.

То же самое можно наблюдать, изучая мнения людей по любому вопросу, например в области политики. Спросите рядового читателя газеты, что он думает о такой-то политической проблеме, и он вам выдаст как "собственное" мнение более или менее точный пересказ прочитанного; но при этом — что для нас единственно важно — он верит, будто все, сказанное им, является результатом его собственных размышлений. Если он живет в небольшой общине, где политические взгляды передаются от отца к сыну, он может не отдавать себе отчета в том, до какой степени "его собственное" мнение определяется авторитетом строгого родителя, сложившимся в детские годы. У другого читателя мнение может быть продуктом минутного замешательства, страха показаться неосведомленным — так что "мысль" его оказывается лишь видимостью, а не результатом естественного сочетания опыта, знаний и политических убеждений. То же явление обнаруживается в эстетических суждениях. Средний посетитель музея, рассматривающий картину знаменитого художника, скажем Рембрандта, находит ее прекрасной и впечатляющей. Если проанализировать его суждение, то оказывается, что картина не вызвала у него никакой внутренней реакции, но он считает ее прекрасной, зная, что от него ожидают именно такого суждения. То же самое происходит с мнениями людей о музыке и даже с самим актом восприятия вообще. Очень многие, глядя на какой-нибудь знаменитый пейзаж, фактически воспроизводят в памяти его изображение, которое неоднократно попадалось им на глаза, скажем на почтовых открытках. Они смотрят на пейзаж, искренне веря, что видят его, но в действительности видят те самые открытки. Если при них случается какое-нибудь происшествие, то они воспринимают ситуацию в терминах будущего газетного репортажа. У многих людей любое происшествие, в котором они принимали участие, любой концерт, спектакль или политический митинг, на котором они присутствовали, — все это становится для них реальным лишь после того, как они прочтут об этом в газете.

Подавление критического мышления, как правило, начинается в раннем возрасте. Например, пятилетняя девочка может заметить неискренность матери: та всегда говорит о любви, а на самом деле холодна и эгоистична; или более резкий случай — постоянно подчеркивает свои высокие моральные устои, но связана с посторонним мужчиной. Девочка ощущает этот разрыв, оскорбляющий ее чувство правды и справедливости, но она зависит от матери, которая не допустит никакой критики, и, предположим, не может опереться на слабохарактерного отца, и поэтому ей приходится подавить свою критическую пронизательность. Очень скоро она перестанет замечать неискренность или неверность матери; она утратит способность мыслить критически, поскольку выяснилось, что это и безнадежно, и опасно. Вместе с тем девочка усвоит шаблон мышления, позволяющий ей

поверить, что ее мать искренний и достойный человек, что брак ее родителей — счастливый брак; она примет эту мысль как свою собственную.

Во всех этих примерах псевдомышления вопрос состоит лишь в том, является ли мысль результатом собственного мышления, то есть собственной психической деятельности. В данном аспекте содержание мысли не играет никакой роли. Мы уже видели, что рыбак мог ошибаться в своем прогнозе погоды, а дачник, повторивший радиопрогноз, мог оказаться прав. Псевдомышление может быть вполне логичным и рациональным; его псевдохарактер не обязательно должен проявляться в каких-либо алогичных элементах. Это можно заметить, изучая рационализации, которые имеют целью объяснить некое действие или чувство разумными и объективными основаниями, хотя на самом деле оно определяется иррациональными и субъективными факторами. Рационализация может и противоречить фактам или законам логики, но часто она вполне разумна и логична; в этом случае ее иррациональность заключается только в том, что она не является подлинным мотивом действия, а лишь выдает себя за такой мотив.

Примером нелогичной рационализации может послужить хорошо известный анекдот. Человек одолжил у соседа кувшин и разбил его. Когда тот просит вернуть кувшин, он отвечает: "Во-первых, я его тебе уже отдал; во-вторых, я никакого кувшина у тебя не брал; и вообще, когда ты мне его давал, он уже тогда был разбит!" В качестве примера "разумной" рационализации можно привести такой случай. Некто А испытывает материальные затруднения и просит своего родственника Б одолжить ему денег. Б отказывает, заявляя при этом, что не хочет потакать безответственности А и его привычке жить за чужой счет. Сами по себе эти основания могут быть вполне разумными, но все же это рационализация, поскольку Б не хотел бы давать денег ни при каких обстоятельствах; хотя он убежден, что руководствуется заботой об А, подлинной причиной его отказа является скупость.

Таким образом, логичность некоего высказывания сама по себе не решает, рационализация это или нет; необходимо принять во внимание внутреннюю мотивировку этого высказывания. Решающим моментом здесь является не то, что человек думает, а то, как его мысль возникла. Если мысль возникает в результате собственного активного мышления, она всегда нова и оригинальна. Оригинальна не обязательно в том смысле, что никому не приходила в голову раньше, но в том смысле, что человек использовал собственное мышление, чтобы открыть нечто новое для себя в окружающем мире или в себе самом. Рационализации в принципе не могут, иметь такого характера открытий; они лишь подкрепляют эмоциональное предубеждение, уже существующее в человеке. Рационализация — это не инструмент для проникновения в суть явлений, а попытка задним числом увязать свои собственные желания с уже существующими явлениями.

Точно так же, как различаются подлинные мысли и псевдомысли, необходимо различать подлинные чувства, возникающие внутри нас, и псевдочувства, в действительности не наши, хотя мы и не отдаем себе в этом отчета. Возьмем пример из повседневной жизни, который типичен для наших псевдочувств при общении с другими людьми. Мы наблюдаем человека в гостях. Он весел, разговорчив, общителен и вообще кажется довольным и счастливым. Вот он широко улыбнулся на прощание, сказал, что провел восхитительный вечер, что был безмерно рад видеть всех присутствующих; дверь за ним закрывается, — и

тут мы не спускаем с него глаз. В его лице резкая перемена. Что исчезает улыбка, это естественно: ему некому больше улыбаться. Но на лице его появляется выражение глубокой тоски, почти отчаяния. Это выражение, впрочем, сохраняется лишь несколько мгновений, затем лицо вновь скрывается под обычной маской. Человек садится в свою машину, вспоминает вечер, размышляет, какое впечатление он там произвел, решает, что хорошее... Но это "он" был весел и счастлив только что? А момент отчаяния, который мы заметили, что это? Быть может, мимолетная реакция, которой не надо придавать никакого значения? Если ничего не знать об этом человеке, ответ на такой вопрос невозможен. Однако следующий дальше эпизод может дать ключ к пониманию того, что означала его веселость.

В эту ночь ему снится сон, что он снова на войне. Он получил задание перейти линию фронта и проникнуть в неприятельский штаб. На нем офицерский мундир, по-видимому немецкий, и вдруг он оказывается среди немецких офицеров. Его удивляет, что в штабе такой комфорт и что все так хорошо к нему относятся, но все больше и больше его охватывает страх, что его разоблачат. Один из молодых офицеров, который ему особенно понравился, подходит к нему и говорит: "Я знаю, кто вы. У вас только один способ спастись; начните рассказывать анекдоты, смейтесь сами и рассмешите их так, чтобы они отвлеклись и у них не осталось внимания на вас". Он очень благодарен за совет, начинает рассказывать анекдоты и смеяться; но постепенно его веселье становится неестественным, остальные офицеры смотрят на него с подозрением — и чем больше их подозрения, тем более вымученными становятся его шутки. В конце концов его охватывает такой страх, что он не выдерживает; он вскакивает, бежит, они гонятся за ним... Вдруг все меняется: он сидит в трамвае, трамвай остановился возле его дома, на нем штатский костюм, и он с облегчением понимает, что война позади. Давайте предположим, что мы в состоянии спросить у него на следующий день, с чем он может связать отдельные элементы этого сна. Здесь мы отметим лишь некоторые ассоциации, особенно важные для понимания того, что нас интересует. Немецкая речь напоминает ему, что один из гостей накануне говорил с сильным немецким акцентом. Этот человек (с акцентом) был ему неприятен, потому что не обратил на него почти никакого внимания, хотя он очень старался произвести хорошее впечатление. По ходу этих мыслей он вспоминает, что в какой-то момент вчерашнего вечера у него было чувство, будто тот, с немецким акцентом, насмехался над ним, ядовито улыбнулся, услышав какую-то его фразу. Когда он припоминает уютное помещение штаба, ему кажется, что оно было похоже на тот дом, где он был вчера, но окна напоминали окна того кабинета, где он когда-то провалил экзамен. Удивленный этой ассоциацией, он вспоминает, что накануне был озабочен тем, какое впечатление произведет. Отчасти потому, что один из гостей был братом девушки, внимание которой он хотел привлечь, а отчасти потому, что хозяин имеет влияние на его начальника, от которого сильно зависит его продвижение по службе. Говоря об этом начальнике, он признается, что терпеть его не может, жалуется, как унижительно изображать дружелюбные чувства к нему; и неожиданно для себя самого вдруг выясняет, что испытывал некоторую неприязнь и к хозяину дома, хотя и не осознавал этого. Еще одна ассоциация состоит в том, что он рассказал что-то смешное о лысом человеке, а потом уже сообразил, что хозяин тоже почти совсем лыс, и ему стало неловко. Трамвай его очень удивляет, потому что рельсовых путей вроде не было. Говоря об этом, он вспоминает, что мальчиком ездил в школу на трамвае; а дальше ему приходит на память, что во сне он сидел на месте вагоновожатого, — и подумал, что управление трамваем удивительно похоже на управление автомобилем. Очевидно, что трамвай заместил его собственный

автомобиль, на котором он вернулся домой, а его возвращение напомнило, как он возвращался из школы.

Для каждого, кто умеет разбираться в значении снов, уже ясно, какие выводы следуют из этого сновидения и сопровождающих его ассоциаций, хотя мы рассказали только часть этих ассоциаций и, в сущности, ничего не сказали о самом человеке, о его прошлом и настоящем. Сон позволяет сказать об его истинных чувствах накануне. Он был встревожен, боялся, что не сумеет произвести нужное впечатление, злился на некоторых людей, которые, как ему казалось, плохо к нему относились и насмехались над ним. Как видно из сновидения, его веселость была лишь средством скрыть тревогу и раздражение и в то же время умиротворить тех, кто его раздражал. Вся его веселость была маской, служившей для прикрытия его подлинных чувств: страха и раздражения. Это порождало неуверенность его положения; он чувствовал себя как шпион во вражеском окружении, которого могут разоблачить в любой момент. Мимолетное выражение отчаяния, которое мы заметили на его лице в момент ухода, теперь получает и подтверждение, и объяснение: в тот момент лицо выражало истинные его чувства, хотя он этих чувств не осознавал. Во сне они приобрели явственное и драматическое выражение, хотя и не были открыто связаны с теми людьми, к которым относились в действительности.

Этот человек не невротик, и он не был под воздействием гипноза. Это, пожалуй, вполне нормальный индивид, с той же тревогой, с тем же стремлением к признанию, какие обычны у современных людей вообще. Но он настолько привык испытывать именно те чувства, какие от него ожидаются в определенных ситуациях, что лишь в порядке исключения мог бы заметить в своих чувствах нечто "чужое"; он не сознавал того факта, что его веселье было не его.

То же, что относится к мыслям и чувствам, справедливо и в отношении желаний. Большинство людей убеждено, что если их не принуждает открыто какая-либо внешняя сила, то их решения — это их собственные решения, и если они чего-то хотят, то это их собственные желания. Такое представление о себе — одна из величайших наших иллюзий. На самом деле значительная часть наших желаний фактически навязана нам со стороны; нам удается убедить себя, что это мы приняли решение, в то время как на самом деле мы подстраиваемся под желания окружающих, гонимые страхом изоляции или даже более серьезных опасностей, угрожающих нашей жизни.

Когда детей спрашивают, хотят ли они ходить в школу каждый день, и они отвечают "конечно, хочу!", — это правдивый ответ? В большинстве случаев определенно нет. Ребенок может хотеть пойти в школу достаточно часто, но нередко он предпочел бы поиграть или заняться чем-нибудь еще. Если он чувствует желание бывать в школе каждый день, то — скорее всего — подавляет свое нежелание. Он чувствует, что от него ждут желания ходить в школу ежедневно, и этого оказывается достаточно, чтобы не дать ему почувствовать, что он это делает только по обязанности. Быть может, ребенок был бы счастливее, если бы смел осознать, что иногда ему и на самом деле хочется в школу, но иногда он идет только потому, что надо, приходится. Однако давление чувства долга достаточно сильно, чтобы вызывать у него ощущение, будто он хочет того, чего хотят от него.

Обычно предполагается, что люди вступают в брак по желанию. Конечно, бывают случаи, когда женятся или выходят замуж по осознанному чувству долга, единственно по обязанности. Бывают и другие случаи, когда человек женится потому, что на самом деле он хочет этого. Но немало и таких случаев, когда человек осознанно полагает, что хочет жениться (или выйти замуж, все равно); на самом же деле он просто попал в такую полосу последовательных событий, которые неминуемо ведут к браку, не оставляя никакой другой возможности. В течение месяцев, ведущих к свадьбе, он твердо убежден, что он хочет жениться, и первый — несколько запоздалый — намек на то, что это, быть может, не совсем так, появляется только в день свадьбы: на него вдруг нападает паническое желание удрать. Если он человек "здравомыслящий", то это чувство длится лишь считанные минуты; на вопрос, на самом ли деле он хочет жениться, он с колебимой уверенностью ответит "да".

Мы могли бы привести массу примеров из повседневной жизни, в которых людям кажется, будто они принимают решение, будто хотят чего-то, но на самом деле поддаются внутреннему или внешнему давлению "необходимости" и "хотят" именно того, что им приходится; делать. Наблюдая, как люди принимают решения, приходится поражаться тому, насколько они ошибаются" принимая за свое собственное решение результат подчинения обычаям, условностям, чувству долга или неприкрытому давлению. Начинает казаться, что собственное решение — это явление достаточно редкое, хотя индивидуальное решение и считается краеугольным камнем нашего общества.

Я хочу привести еще один пример псевдожелания которое часто наблюдается при анализе людей без каких-либо невротических симптомов. Этот частный случай не связан с широкими общественными проблемами, которыми мы занимаемся здесь, но он позволит читателю, не знакомому с действием подсознательных сил, получить лучшее представление об этом феномене. Кроме того, этот пример явно выявляет связь между подавлением психических актов и возникновением псевдоактов, о чем уже упоминалось выше. Обычно подавление рассматривают с точки зрения его роли в невротическом поведении, в сновидениях и т. п.; важно, однако, подчеркнуть, что всякое подавление уничтожает какую-то часть подлинной личности и вызывает подмену подавленного чувства псевдочувством.

Человек, о котором пойдет речь, — студент-медик, двадцати двух лет. Он заинтересован своей работой и легко ладит с людьми. Нельзя сказать, чтобы он был как-то особенно несчастен, но он нередко чувствует некоторую усталость и у него нет особенного вкуса к жизни. Подвергнуться психоанализу его побудила профессиональная любознательность: он собирается стать психиатром. Единственная его жалоба состоит в том, что у него возникли некоторые трудности в учебе. Он часто забывает прочитанное, чрезмерно устает на лекциях и стал хуже сдавать экзамены. Это его удивляет, потому что во всем остальном он не может пожаловаться на память. Он вполне уверен, что хочет заниматься медициной, но часто сомневается, что сможет стать хорошим врачом.

Через несколько недель он рассказывает сон, в котором он стоит на верхнем этаже построенного им небоскреба и оглядывает сверху окружающие здания с легким чувством торжества. Вдруг небоскреб рушится, и он оказывается под развалинами. Он понимает, что его спасут (развалины уже разбирают), но слышит, как кто-то говорит о нем, что он серьезно ранен и что скоро должен появиться врач. Врача приходится ждать целую

вечность, а когда тот наконец появляется, то ничем не может ему помочь, потому что забыл свою сумку с инструментами. На него накатывает волна ярости к врачу, и вдруг оказывается, что он стоит на ногах и вовсе не ранен. Он высмеивает врача и в этот момент просыпается.

В связи с этим сном у него возникает лишь несколько ассоциаций, но зато весьма многозначительных. Думая о построенном им небоскребе, он вскользь упоминает, что всегда интересовался архитектурой. В детстве строительные кубики долго оставались его любимой игрой, а в семнадцать лет он решил, что станет архитектором. Когда он сказал об этом отцу, тот по-дружески ответил, что сын, конечно, волен сам выбирать себе карьеру, но он (отец) уверен, что эта идея лишь отголосок его (сына) детских увлечений и что для него (сына) было бы лучше заняться медициной. Молодой человек решил, что отец прав, и никогда больше не заговаривал с ним на эту тему. И начал изучать медицину. Ассоциации по поводу врача, опоздавшего и забывшего инструменты, были расплывчаты и скудны. Однако в разговоре об этой части сна ему вспомнилось, что назначенное время его аналитического сеанса было передвинуто и что, хотя он не возражал против этого изменения, на самом деле был очень раздосадован. Вот и теперь, говоря об этом, он чувствует, как в нем снова пробуждается раздражение. Он обвиняет аналитика в произволе и вдруг заявляет: "Послушайте, вот я же не могу делать все, что хочу!" Он сам чрезвычайно удивлен и своим раздражением, и этой своей фразой, потому что до сих пор ни аналитик, ни занятия анализом не вызывали у него никакой неприязни.

Через некоторое время ему снится еще один сон, из которого он запоминает только фрагмент. Его отец, ранен в автомобильной катастрофе; сам он — врач и должен оказать помощь отцу. Но когда он пытается осмотреть отца, то чувствует, что полностью парализован, что не может даже двинуться, и в ужасе просыпается.

В своих ассоциациях он нехотя упоминает, что в последние годы у него появлялись мысли о возможности внезапной смерти отца и эти мысли его пугали. Иногда он думал даже о наследстве, о том, что бы он стал делать с этими деньгами. Эти фантазии особенно далекой его не заводили, поскольку он их подавлял тотчас же. Он сравнивает этот сон с предыдущим и поражается, что в обоих случаях врач не мог оказать никакой помощи. Теперь ему становится ясно, как никогда, что врач из него не получится. Когда ему напоминают, что в первом сне было чувство гнева и насмешки над бессилием врача, он вспоминает, что, услышав или прочитав о случае, когда врач оказался не в силах помочь пациенту, он испытывает какое-то злорадство, которого до сих пор не осознавал.

В ходе дальнейшего анализа выявляется и другой материал, который все время подавлялся. К своему удивлению, он обнаруживает в себе сильное чувство гнева по отношению к отцу; а кроме того, выясняет, что его чувство бессилия в качестве врача является частью более общего чувства бессилия, пронизывающего всю его жизнь. Он думал, что организовал свою жизнь в соответствии со своими собственными планами, но теперь чувствует, что в глубине души был преисполнен покорности. Теперь он осознает свое прежнее убеждение, что он не может делать того, что хочет, а должен приспособиться к тому, чего от него ждут. Он видит все яснее и яснее, что на самом деле никогда не хотел стать врачом, что кажущееся отсутствие способностей в действительности было пассивным сопротивлением.

Этот случай является типичным примером подавления своих подлинных желаний и такого усвоения чужих ожиданий, при котором они воспринимаются как собственные желания. Можно сказать, что подлинное желание замещено псевдожеланием.

Замещение, подмена подлинных актов мышления, чувства и желания в конечном счете ведет к подмене подлинной личности псевдоличностью. Подлинное "я" является создателем своих психических проявлений. Псевдо-"я" лишь исполняет роль, предписанную ему со стороны, но делает это от своего имени. Человек может играть множество ролей и быть субъективно уверенным, что каждая из них — это он. На самом же деле человек разыгрывает каждую роль в соответствии со своими представлениями о том, чего от него ждут окружающие; и у многих людей, если не у большинства, подлинная личность полностью задумана псевдоличностью. Иногда во сне, в фантазиях или в состоянии опьянения может проявиться какая-то часть подлинного "я": чувства и мысли[51], не возникавшие уже много лет. Иногда это дурные мысли, которые человек подавляет потому, что боится или стыдится их. Иногда же это лучшее, что в нем есть, но оно тоже подавлено из-за боязни подвергнуться насмешкам или нападкам за эти чувства и мысли.

Утрата собственной личности и ее замещение псевдоличностью ставят индивида в крайне неустойчивое положение. Превратившись в отражение чужих ожиданий, он в значительной степени теряет самого себя, а вместе с тем и уверенность в себе. Чтобы преодолеть панику, к которой приводит эта потеря собственного "я", он вынужден приспособляться дальше, добывать себе "я" из непрерывного признания и одобрения других людей. Пусть он сам не знает, кто он, но хотя бы другие будут знать, если он будет вести себя так, как им нужно; а если будут знать они, узнает и он, стоит только поверить им.

Роботизация индивида в современном обществе усугубила беспомощность и неуверенность среднего человека. Поэтому он готов подчиниться новой власти, предлагающей ему уверенность и избавление от сомнений. В следующей главе мы рассмотрим особые условия, которые были необходимы для того, чтобы это предложение было принято в Германии.

Мы покажем, что для низов среднего класса, ставших ядром нацистского движения, наиболее характерен именно авторитарный механизм. В последней главе нашей книги мы вернемся к вопросу о человеке-роботе в связи с общественными явлениями в обстановке нашей демократии.

---

Версия #1

Зверобой создал 3 июня 2025 12:43:00

Зверобой обновил 3 июня 2025 12:46:07